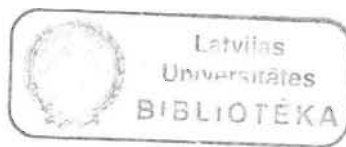


LATVIJAS UNIVERSITĀTE  
FILOLOĢIJAS FAKULTĀTE  
Krievu literatūras katedra

Darja Ņevskaja



**Krievu vēsturiskās daiļprozas veidošanās  
(18. gs. beigas - 19.gs. sākums)**

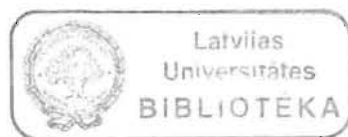
**Doktora disertācija**

**Rīga 1997**

**Филологический факультет ЛУ  
Кафедра русской литературы**

**Дарья Невская**

**Формирование русской  
художественно-исторической прозы  
(конец XVIII — начало XIX века)**



**Диссертация  
на соискание ученой степени  
доктора филологии**

**Рига 1997.**

## Оглавление

Введение .....	3	стр.
<b>I глава. «Писатель» и «читатель» в          собственноисторической литературе          середины XVIII века .....</b>	<b>11</b>	<b>стр.</b>
<b>II глава. Изменения в характере          собственноисторической литературы          в 60—80-е годы XVIII века .....</b>	<b>72</b>	<b>стр.</b>
<b>III глава. Становление художественно-          исторических жанров в конце XVIII          — начале XIX века .....</b>	<b>120</b>	<b>стр.</b>
Заключение .....	255	стр.
Список использованной литературы .....	259	стр.

## ВВЕДЕНИЕ

Художественно-историческая проза XVIII — начала XIX века не была обойдена вниманием русского и советского литературоведения. Работы таких исследователей как В.В.Сиповский, Б.М.Эйхенбаум, Г.П.Макогоненко, Д.Д.Благой, П.Н.Берков, Н.М.Лотман, Б.А.Успенский, Ю.В.Стенник, Н.Д.Кочеткова, Г.Н.Моисеева, Ф.З.Канунова, Л.Н.Лузянина, Г.М.Фридлендер, Т.С.Карлова и других<sup>1</sup> были посвящены проблемам формирования историзма в художественном мышлении и литературе XVIII — начала XIX века. В этих исследованиях внимание уделялось главным образом влиянию исторической мысли на уже сформировавшуюся в течение XVIII и первых десятилетий XIX века художественную литературу. Так, например, Л.Н.Лузянина рассматривает историзм художественного мышления в первые десятилетия XIX века как закономерный результат взаимодействия исторического содержания и уже «устоявшихся литературных форм». Она пишет, что «противопоставление устоявшихся литературных форм историческому сочинению оказывалось вполне закономерным, т.к. историческое содержание вступало в противоречие с канонами того или иного литературного жанра или даже литературного стиля в целом»<sup>2</sup>. На наш взгляд, все исследователи, в том числе и Л.Н.Лузянина, в своих работах, посвященных проблемам историзма в художественной литературе, рассматривают в качестве предмета изучения уже второй этап в формировании русской художественно-исторической прозы.

---

<sup>1</sup>Перечень работ названных авторов см. в списке использованной литературы.

<sup>2</sup>Лузянина Л.Н. Историзм художественного мышления в первые десятилетия XIX века: Изв. АН СССР. Серия литературного языка. 1972. Т.31. Вып.2. С.136.



Можно утверждать, что этому второму этапу предшествует первый, на котором «художественная литература была вычленена из массы всей «словесности», (...) из неопределенности тогдашней «литературы»<sup>1</sup>.

Таким образом, первый этап в формировании художественно-исторической прозы остался, на наш взгляд, за пределами литературоведческого исследования. Но изучение истории литературы невозможно без прояснения всех этапов становления литературы как предмета «истории литературы». Поэтому наше исследование посвящено как раз этому этапу, на котором происходило «выделение» художественно-исторической литературы из всей массы «словесности». Уточним, о какой литературе и какой «словесности» идет речь. В XVIII веке историческое знание обладало известной универсальностью научно-познавательного и художественного, когда историк и писатель соединялись в одном авторе. По нашему мнению, процессы, повлиявшие на формирование исторического знания как науки и художественно-исторической литературы как предмета изучения «истории литературы», проходили в течение XVIII века одновременно в рамках жанра монументальной истории как основного с 50-х годов XVIII века жанра русской историографии. Русская историография XVIII века сыграла определяющую роль в становлении не только художественно-исторической литературы, но в значительной мере и всей русской повествовательной литературы.

В работе мы исходили из этой посылки, имея в виду, что собственноисторическая литература XVIII века является продолжательницей традиции русского летописания, которое, в свою очередь, через жанр монументальной истории в конце

---

<sup>1</sup> Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки из истории филологической науки, М., 1989. С.113, 115.

XVIII — начале XIX веков оказало влияние на формирование повествовательной литературы. С воздействием летописи связано и возникновение основных жанров повествовательной литературы рубежа XVIII—XIX веков: повести, анекдота, очерка. Вне пределов нашего исследования находятся псевдоисторические романы М.М.Хераскова, так как они находятся за пределами рассматриваемой нами литературной традиции.

Таким образом, учитывая неразработанность этой темы в литературоведении, мы обратились к изучению процессов, протекавших в недрах собственноисторической литературы в XVIII веке и приведших, через разделение научно-познавательного и художественного, к «выделению» из нее художественной литературы на историческую тему. Поэтому основным предметом изучения в нашей работе становится не столько художественно-историческая, сколько собственноисторическая литература XVIII века. Под «собственноисторической литературой» имеется в виду весь корпус исторических сочинений, задуманных и созданных русскими и иностранными историографами с целью создать и закрепить историографию как отрасль научного знания, одновременно просвещая современников в родной истории.

К концу XVIII века цели и задачи историков изменились, но это не препятствует рассмотрению исторических сочинений этого времени как относящихся к собственноисторической литературе. Постепенно, однако, историографические задачи (иногда на декларативном уровне) сменяются литературными с появляющимися признаками перераспределения жанров между историографией и художественной литературой на историческую тему.

Основным жанром собственноисторической литературы с начала XVIII века становится жанр «монументальной истории», в рамках которого историки могли реализовывать замысел Петра I — написать наиболее полное сочинение об истории России с

древнейших времен. В этом жанре работали В.Н.Татищев, М.М.Щербатов, М.В.Ломоносов, И.Н.Болтин, Екатерина II, Ф.Эмин, И.П.Елагин, И.Ф.Богданович. Именно этот жанр и становится объектом нашего исследования.

В рамках жанра «монументальной истории» в течение второй половины XVIII века происходит расчленение научно-познавательных и художественных задач с последующим «выделением» повествовательных литературных жанров и формированием собственноисториографических жанров.

Если принять во внимание тот факт, что становление собственноисториографических жанров и жанров повествовательной литературы происходило в рамках собственноисторической литературы, то мы не могли не обойти своим вниманием также труды по истории русской историографии А.Пышина, Н.Л.Рубинштейна, П.П.Пекарского, В.С.Иконниковой, С.Л.Пештича, С.М.Соловьева, Д.Н.Шанского, П.Милюкова, П.А.Лярского и др<sup>1</sup>. В этих работах дана характеристика и тех исторических сочинений, которые современная историческая наука относит к «риторическим», т.е. таким, где преобладают элементы художественности, и перед авторами стоят литературные задачи. К этим сочинениям, вслед за историками русской историографии, мы относим «истории» Ф.Эмина, И.П.Елагина, И.Ф.Богдановича, А.П.Сумарокова. А самих этих историков-неофитов в нашем исследовании мы будем условно именовать историками «второго поколения». Соответственно, их предшественников, историографов, вышедших из академической среды, в дальнейшем будем называть историками «первого поколения», или первыми историографами.

---

<sup>1</sup>Перечень работ названных авторов см. в списке использованной литературы.

Это деление хотя и не отражает реальную смену поколений в историографии, но дает представление о взаимной заинтересованности этих «поколений» друг в друге. С другой стороны, несмотря на традицию цельно-синкретического постижения исторической жизни, деление на «поколения» указывает на принадлежность историков к разным школам в историографии. Историки «второго поколения» в освоении исторического пространства вплотную приблизились к его художественному воплощению. Первые же историографы — к обладанию исторической истиной в рамках научных жанров историографии.

Рассматривая этапы становления жанра «монументальной истории», мы пользовались периодизацией, предложенной С.Л.Пештичем.

Исследователь делит историю русской исторической мысли XVIII века на четыре этапа: I — конец XVII — первая четверть XVIII века; II — вторая четверть XVIII века; III — третья четверть XVIII века; IV — с середины 70-х до начала 90-х годов<sup>1</sup>.

Начало нашего исследования относится к тому времени, когда историография вышла за стены Академии наук, отвечая на потребности в историческом знании, а произошло это в конце 50-х годов XVIII столетия. Третий и четвертый этапы, по периодизации Пештича, представляются наиболее значимыми для становления русской исторической прозы.

---

<sup>1</sup>«Такая историографическая периодизация, — по мнению ученого, — обоснована развитием русской исторической мысли, совпадает в данном случае с общей исторической периодизацией». См.: Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч.2. С.4.

Останавливаясь на них подробнее, мы определяем рассматриваемый нами период в хронологических пределах, охватывающих время с конца 1750-х гг. до появления «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина.

Методологической основой работы является последовательное рассмотрение процессов возникновения русской художественно-исторической прозы конца XVIII — начала XIX века на основе историографической традиции, сложившейся в собственноисторических сочинениях предшественников Н.М.Карамзина.

Известно, что «трактовка роли великого деятеля, зачинателя исторической или культурной традиции, может быть двойкой: мифологической и исторической»<sup>1</sup>. Не углубляясь в особенности каждого из этих подходов и не учитывая их взаимодополняемость, мы рассматриваем «Историю государства Российского» Н.М.Карамзина как труд, который состоялся в таком виде, в котором мы его знаем, во многом и благодаря предшествующей собственноисторической литературе.

В нашей работе делается попытка доказать этот факт, для чего используется «исторический подход» к трактовке роли Н.М.Карамзина в создании художественно-исторической прозы, т.к. «исторический подход, как правило, ориентирован на установление «корней» и «истоков» деятельности реформатора. Перед ним вырастает целый лес предшественников...»<sup>2</sup>. Этот подход должен нас убедить и убеждает, что «реформа произошла задолго до появления реформатора»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С.525.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Там же.

Поскольку в работе поднимаются вопросы, связанные с формированием литературной традиции в собственноисторической литературе, а проблему взаимоотношений писателя и читателя мы рассматриваем как часть этой традиции, то считаем важным ответить на вопрос: почему же не Ломоносов, Щербатов или Болтин открыли русскому читателю его историю, а это сделал Карамзин, и кто облегчил ему «открытие», создавая и расширяя круг «любителей истории»?

Как уже было сказано выше, собственноисторическая литература XVIII века рассматривается нами в аспекте влияния на нее летописной традиции. Но надо иметь в виду, что сама древнерусская литература XI—XVII веков не является в работе предметом специального рассмотрения, поэтому сведения, касающиеся литературной и культурно-исторической ситуации обозначенного периода, взяты нами из работ Д.С.Лихачева, А.М.Панченко, А.С.Демина<sup>1</sup>.

Диссертация состоит из «Введения» и трех глав, выводов из каждой из них, «Заключения», списка источников и использованной литературы.

Во «Введении» определен предмет исследования, его цель, задачи, основные методы; обоснована актуальность темы; раскрыта методологическая основа работы, ее структура, научная и практическая значимость. Дано обоснование основным понятиям, введенным в исследование.

В первой главе рассмотрено становление основного жанра собственноисторической литературы, «монументальной истории» и проблема взаимоотношений между историком и читателем собственноисторической литературы как непосредственно влияющая на процесс формирования этого жанра.

---

<sup>1</sup>Перечень названий работ этих авторов см. в списке использованной литературы.

Во второй главе работы изучаются результаты влияния древнерусского летописания на принцип создания и метод повествования в «монументальной истории» XVIII века. Кроме того, в главе продолжают исследоваться процессы жанрообразования в собственноисторической литературе и влияние на эти процессы взаимоотношений «писателя» и «читателя». Большое внимание в главе уделяется результатам неофитства в историографии.

В третьей главе подробно рассматривается процесс «выделения» элементов повествовательной литературы из собственноисторической литературы, а также рассмотрены результаты жанрообразовательных процессов, проходивших в собственноисторической литературе в течение второй половины XVIII века. Определяется роль и значение летописной традиции в формировании художественно-исторической литературы.

В «Заключении» приводятся основные результаты исследования и указывается на их практическое значение.

## **Глава первая**

**«Писатель» и «читатель» в  
собственноисторической литературе  
середины XVIII века**



К середине 60-х годов XVIII века в России были достигнуты большие успехи в области историографии, связанные, прежде всего, с деятельностью историков «первого поколения» — В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова, Г.-Ф.Миллера. Однако ни один из обобщающих трудов по русской истории, написанных в первую половину XVIII века, к этому времени издан еще не был. Причина в том, что русская историография, возникавшая в колыбели Академии наук, формировалась главным образом в результате дискуссий, царивших в ее стенах, и не выходила за рамки академических споров. Сами же споры по вопросам русской истории являлись «отражением подъема национального самосознания в России», и порождались борьбой «русских ученых против имевшего место предвзятого отношения иностранных историков к истории России».<sup>1</sup>

Политика реформ Екатерины II, направленная на превращение России в великую державу, содействовала возникновению интереса к своему историческому прошлому и у образованных слоев русского общества.

Отмечая характерную для второй четверти XVIII века оторванность академической историографии от потребностей общества в историческом знании, можно сказать, что в этот период академическая историография не оказала какого-либо заметного влияния на зарождение интереса к русской истории в обществе. А о том, что такой интерес был, свидетельствует

---

<sup>1</sup>Шанский Д.Н. Историческая мысль // Очерки русской культуры XVIII века. М., 1983. Ч.3. С.137.

историк А.Шлецер, который считал, что у русских вообще сильно развито участие к своей истории, даже у «полуобразованных всегда найдешь летопись, не говоря уже о монастырях и частных библиотеках». Особо он отмечал распространившиеся в 60-е годы «в высшем и низшем сословиях ... обыкновение собирать всякого рода хроники»<sup>1</sup>.

Только с конца 60-х годов XVIII века труды по русской истории стали достоянием широкого круга образованных читателей. Так, в 1766 году вышел первый том «Древней Российской истории» М.В.Ломоносова, а в 1768 году появились «через тридцать лет собранная и описанная Покойным Тайным Советником и Астраханским Губернатором Василием Никитичем Татищевым» первая книга «Истории Российской с самых древнейших времен», а в 1770 году впервые было издано «наиболее зрелое обобщающее произведение о России, созданное в первой четверти XVIII века»<sup>2</sup> — «Ядро Российской истории» А.Я.Манкиева (1715). Тогда же, с конца 60-х годов и до конца столетия, начали издаваться исторические источники.

Среди них главное место занимали летописи. Летописи входили как в состав собраний исторических источников, каким была «Древняя российская вивлиофика» Н.И.Новикова (1766), так и издавались отдельно: «Летопись Нестерова» (1767), «Никоновская летопись» (1767—1791), «Летопись о многих мятежах» (1773), летопись Типографская (1784), Львовская (1791), Новгородская I по Синодальному и Академическому спискам (1781, 1786). Кроме летописей издавались и не раз переиздавались «Русская Правда» (1767, 1792, 1799), Судебник 1550 г. (1768, 1786), Царственная книга (1769) и т.д.

---

<sup>1</sup>Шлецер А. Общественная и частная жизнь А.Шлецера, им самим описанная. Спб., 1875. С.50.

<sup>2</sup>Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С.45.

Инициатором первых публикаций исторических источников был М.В.Ломоносов. Исторические сочинения, издания источников и других исторических документов не сразу нашли своего читателя, так как уровень исторического знания в российском обществе был чрезвычайно низок, несмотря на первые проявления любопытства к истории государства Российского. В XVIII веке еще не было философии, которая превратила бы историю в научное знание, и часто история рассматривалась как сумма примеров, подобранных с определенных социальных позиций «в целях подражания или предостережения людей»<sup>1</sup>. Имея такой прикладной характер, предусмотренный еще античной традицией, русская собственноисторическая литература мыслилась как «наставница человека», а для этого она должна была стать доступной и понятной каждому, кто захотел бы приобщиться к ней.

Заинтересовать русского читателя историей России, научить его читать исторические сочинения, документы было важно и для преобразования самого исторического знания в историческую науку. Известно, что интерес в обществе к любой отрасли науки (особенно в начальный период ее формирования) во многом способствует развитию этой науки. Отсюда очевидна важность задачи, которую ставили перед собой историки России «первого поколения»: «воспитать» или создать своего читателя, расширив круг любителей российской истории. Решить эту задачу можно было, лишь преодолев узкоакадемический характер историографии, а также, установив контакт между историографом и читателем для получения обоюдной пользы. Эта задача соответствовала и общему направлению просветительской мысли в России.

---

<sup>1</sup>Шанский Д.Н. Указ. соч. С.124.

Ю.М.Лотман, рассуждая о парадоксе языковой программы Карамзина — «ориентироваться на читателя и одновременно создать своего читателя», отмечал: «и здесь мы вновь видим ученика Новикова — воспитателя, продумывающего поэтапность воспитания с тем, чтобы каждый раз давать воспитуемому посильное и понятное, последовательно усложняя задачу. Но здесь и разница: Новиков воспитывает нравственность, накладывая на души учеников возрастающее «бремя неудобь носимое», Карамзин — культуру, искусство жить и чувствовать, стремясь сделать бремя легким и приятным, соответствующим слабостям человеческой природы»<sup>1</sup>.

В результате этого особого карамзинского подхода к воспитанию своего читателя «у всякого, кто изучает читательскую аудиторию 1780-х и 1800-х годов, создается впечатление, что за эти двадцать лет произошло чудо — возник читатель как культурно значимая категория»<sup>2</sup>. Соглашаясь с выводом исследователя, мы попытаемся разобраться в природе такого явления культуры, когда писатель «создает» (воспитывает) себе читателя. Рассмотрев это явление на материале собственноисторической литературы второй половины XVIII века, попробуем ответить на вопрос: «чудом» ли было «возникновение» в последнем десятилетии XVIII века читателя как культурно значимой категории?»

Первые историографы Татищев, Миллер, Щербатов пытались установить непосредственный контакт с читателем во имя «обоюдной пользы». Они обращались за «вспоможением» в собирании исторических источников к читательской аудитории через журнальные публикации и предисловия к изданиям своих

---

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С.276—277.

<sup>2</sup>Там же. С.231.

исторических трудов, тем самым привлекая к добровольному сотрудничеству всех интересующихся русской историей.

Надо отметить, что «роман» между читателем и писателем возобновился во второй половине XVIII века после недолгого периода отчуждения, которое пришлось на конец XVII века и было следствием общей отчужденности колеблющихся настроений русского общества по отношению к «латинству» и новым веяниям в просвещении»<sup>1</sup>.

В целом, это временное охлаждение в отношениях между книжниками и образованными читателями (основными потребителями традиционной духовной культуры Древней Руси, настроенные враждебно к восприятию новой светской культуры, пришедшей из Украины и Белоруссии), принесло свои позитивные результаты для развития русской литературы. Так, с одной стороны, такое состояние духа общества способствовало «раскрепощению личности», «активизации читателей», «увеличению гибкости» и «интеллигентности» эстетического сознания», и, в конечном счете, способствовало тому, что «движение литературы начинает контролироваться читателем»<sup>2</sup>.

С другой стороны, в результате отторжения читателя от писателя существенно изменилось к концу XVII века и отношение к писательскому труду в обществе. В древнерусской литературе писателю (как правило, монаху или представителю белого духовенства) традиционно отводилась роль наставника, духовного пастыря, «сочиняющего по обету или внутреннему убеждению»<sup>3</sup>. Почти божественное предназначение писателя

---

<sup>1</sup>Демян А.С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков (общественные настроения). М., 1985. С.185.

<sup>2</sup>Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи истины. Л., 1973. С.139, 171.

<sup>3</sup>Панченко А.М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // XVIII век. Л., 1974. Сб. 9. 124.

увеличивало почтение паствы, воспринимающей книгу как божественный дар: «Книга подобна иконе», это духовный авторитет и духовный руководитель»<sup>1</sup>. Никто из паствы без важной причины (разве что во время «размирья») никогда не посягал на роль писателя. Если кто и покушался на это, то такие сочинения (например, сатирические повести) относятся уже к демократическим явлениям неофициальной литературы «бунташного» века. Эта литература способствовала нарушению традиционной иерархии в отношении читателя к писателю, приближая время их полного разобщения в конце XVII столетия. А уже в начале XVIII века Петром I осуществляется «писательская реформа», в результате которой «писательство было выведено за круг обязанностей ученого монашества...». Соответственно, «...монах или белец становился чиновником; писатель, сочиняющий по обету или по внутреннему убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по заказу или прямо по «указу». Но одновременно с практическими функциями литературе надлежало развлекать: для развлечения каждый мог писать невозбранно — в качестве частного человека, вне и помимо служебных обязанностей. Писатель стал частным человеком, частный человек стал писателем»<sup>2</sup>. По мнению А.М.Панченко, в этом и заключался смысл «переворота в литературном быте», который случился при Петре: «Это была тоже своего рода реформа, и реформа с далеко идущими последствиями»<sup>3</sup>. Можно предположить, что в числе этих «далеко идущих последствий» было сближение писателя и читателя, которое проходило непросто в течение всего XVIII столетия.

---

<sup>1</sup>Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С.167.

<sup>2</sup>Панченко А.М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // XVIII век. Л., 1974. Сб.9. С.124—125.

<sup>3</sup>Там же. С.125.

Отношения между читателем и писателем до конца XVII века складывались «по вертикали». Эта традиция продолжалась в культурных условиях нового времени. Роль духовного пастыря, наставника диктовалась древнерусскому книжнику самым художественным методом того или иного жанра древнерусской литературы, с одной стороны, ставила его над читателем, а с другой — лишала возможности индивидуализироваться и обрести главное — имя. Неповторимость авторских особенностей не могла разрушить требований жанра. В «средневековой литературе авторское «я» в большей степени зависит от жанра произведения, почти уничтожая за этим жанровым «я» индивидуальность автора. В проповеди — это проповедник, в житии святого — это агиограф, в летописи — летописец и т.д. Существуют как бы жанровые образы авторов»<sup>1</sup>.

Воспользуемся этой характеристикой положения автора средневековья применительно уже к литературе классицизма.

С начала XVIII века перед литературой ставились высокие «учительные» задачи. Писателю отводилась роль духовного наставника общества — как и в литературе Древней Руси, отношения между ним и читателем должны были, по замыслу теоретиков классицизма, строиться по вертикали, т.е. писатель находится над читателем. Однако XVII «бунташный» век сократил дистанцию между ними, переведя их отношения в горизонтальную плоскость. Это уравнивание закрепилось уже в начале XVIII века писательской «далеко идущей реформой».

Новая культурная эпоха могла навязать обществу свой тип отношений к писательству в теории, но не могла противостоять реальному положению вещей: писатель в России на протяжении почти всего XVIII века в глазах общества так и не занял

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.87.

положение духовного наставника. Достаточно вспомнить трагическое непонимание, преследовавшее всю жизнь В.К.Тредиаковского, М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова.

Противоречие между стремлением писателя выстроить свои отношения с читателем «по вертикали», где он находился бы в верхней позиции, и реальным восприятием его читателем в «горизонтальной» плоскости усугублялось еще и тем, что в классицизме авторское «я» подменялось «жанровым образом» автора, так как в классицизме, как и в древнерусской литературе, «очень сильна была власть жанров, жанровая регламентация стиля»<sup>1</sup>.

Можно, сказать, что в начале XVIII века на смену «жанровому образу» летописца или агиографа приходят «жанровые образы» писателя, историка, историописателя. А.М.Панченко видит суть «писательской реформы» начала XVIII века в том, что «писатель становится частным человеком, частный человек стал писателем»<sup>2</sup>. На наш взгляд, это «превращение» также является сутью «читательской реформы» или, другими словами, обратной стороной «писательской реформы» становится «читательская реформа», в результате которой любой читатель — «образованный дилетант» просто мог «превратиться» в писателя.

Эстетика классицизма также предусматривала такую возможность в своде правил и норм, «достаточных» для любого, кто пожелает прослыть писателем, но не знает как к новому делу подступиться. Между тем, «писательско—читательская реформа» была подготовлена предыдущими эпохами в развитии писательско—читательских отношений, в том числе и последним периодом «отчуждения», наступившем в XVII веке.

---

<sup>1</sup>Там же. С.87.

<sup>1</sup>Панченко А.М. О смене писательского типа в петровскую эпоху. С.124.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что читатель не сразу позволил вовлечь себя в процесс сочинительства. Это утверждение можно отнести скорее к области литературы, так как при всем характерном для эпохи синтезе научно-познавательного и художественного все-таки следует иметь в виду, что «штат» литераторов в первой половине XVIII века ограничивался тремя-четырьмя известными именами, не расширяясь ни за счет числа образованных читателей, ни за счет представителей других профессий: историографов, географов, переводчиков, инженеров, преподавателей и ученых. С другой стороны, сочинительство, связанное с научно-познавательной сферой, возведенное Петром I в ранг первоочередной государственной службы, пользовалось большей популярностью со стороны образованного читателя. Подобное отношение к литературному труду, вероятно, было сопряжено не только с изложенными выше предпосылками во взаимоотношениях читателя и писателя, не только с прагматическим духом времени, но и с тем процессом, который связан с «высвобождением в человеке личностного начала». Этот процесс начинается в Петровское время, но особенно активно проявляется с 60-х годов XVIII века. Поэтому можно предположить, что в эпоху, которая была отмечена ростом сословного самосознания, «нового» дворянства, получившего дворянское звание благодаря личным качествам и личной выслуге по Табели о рангах, «жанровый образ» писателя — духовного наставника, лишённого индивидуальных черт биографии, внутренней независимой позиции не мог уже удовлетворить образованного читателя.

Важно и другое: художественному методу литературы классицизма соответствовал не только определенный «жанровый образ» автора, но и «жанровый образ» читателя, чье восприятие и реакция на произведение задавались, программировались заранее и не столько самим сочинителем, сколько общим литературным канонам. Поэтому, на наш взгляд, писатель и

читатель существовали до середины столетия как жанровые категории. Их соединяла нормативность требований, предъявляемых классицизмом, с одной стороны, к автору, а с другой, к читателю, ибо последний должен был быть просвещен в «грамматике» классицизма не меньше, чем первый. Таким образом, власть художественного метода сдерживала индивидуализацию художественного сознания автора и читательского восприятия, а в конечном счете тормозила формирование писателя и читателя в России как «культурно-исторических категорий».

По нашему мнению, в России «высвобождение личностного начала» и формирование читателя как культурно-исторической категории начинается в том числе и тогда, когда он обращается к изучению национальной истории и приобретает явные признаки «любителя истории»: «При здешней Императорской Академии Наук напечатана еще в прошедшем 1762 году пятым тиснением Синописис ... Книга сия краткую Российскую Историю в себе содержащая не требует, чтоб о ней упомянуть пространно, потому что она по частым ея тиснениям любителям Истории довольно известна»<sup>1</sup>. Такие обращения к читателям — «любителям истории» — на страницах «Ежемесячных сочинений» в 50—60-е годы встречаются довольно часто.

Со временем образ «любителя истории» приобретает черты конкретной личности. Так, издатели журнала, первоначально апеллируя к абстрактному образу «любителя истории», все чаще начинают упоминать имена и фамилии конкретных представителей этой категории читателей. Иногда публикуют их замечания по поводу тех или иных исторических сочинений.

---

<sup>1</sup>Ежемесячные сочинения. 1763. Январь. С.174.

Выделено мной. — Д.Н. В цитируемых текстах XVIII—XIX веков сохраняется орфография и пунктуация источника.

«Истинные любители Истории» давно желали, чтоб повествование Геродота, коего старее нет между историописателями, на Российский язык переведены были»<sup>1</sup>.

Далее следует похвала искусному переводу Геродота, сделанному «Артиллерии майором, господином Нартовым» — «любителем истории», а впоследствии известным историком. Остальным читателям, «стараящимся в переводах», Нартов рекомендует обратиться не к «забавным книгам нынешнего века», а к переводам «нужнейших книг, всем наукам основание подающим»<sup>2</sup>. К этим книгам он в первую очередь относил и сочинения по гражданской и естественной истории.

Прежде чем появилось привычное нам понятие литературы (художественная проза и поэзия) как предмет «истории литературы», необходимо было «вычленить» ее из массы всей «словесности», из «неопределенности тогдашней литературы», где не существовало четкой границы между публицистикой, художественной и научной литературой»<sup>3</sup>.

В России необходимо было «вычленить» литературу (художественную прозу) из собственноисторической литературы, и осуществлению этого процесса во многом способствовали отношения, складывающиеся между историком и читателем истории.

В конце 50-х годов XVIII в. в академической историографии сложилась такая ситуация, которая способствовала сближению читателя и историка.

---

<sup>1</sup>Ежемесячные сочинения. 1763. Март. С.271.

Выделено мной. — Д.Н.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки по истории филологической науки. М., 1989. С.113—115.

Надо учитывать, что состояние историографии в 50-е годы было таково, что и становление ее могло произойти лишь при большой поддержке со стороны широкого круга любителей русской истории. Первым делом историографам «первого поколения» В.Н.Татищеву и Г.-Ф.Миллеру следовало не просвещать жадного до исторического знания читателя, а воспользоваться его поддержкой и знаниями, чтобы создать условия для его же просвещения:

Другими словами, сначала надо было обобщить картину прошлого, собрав все исторические источники, касающиеся истории России с древнейших времен, восстановить последовательность исторических событий, установив между ними причинно-следственную связь, а потом написать монументальную историю России и тогда уже «просвещать», знакомить русского читателя со своей историей<sup>1</sup>. Русская историография начиналась с собирания источников<sup>2</sup>, осуществлявшегося с начала века при активном «вспомоществовании» образованных людей.

---

<sup>1</sup>Известно, что идея создания монументального труда по истории России принадлежала Петру I. Скорее всего, все это намерение царя отразилось на выборе историками первого основного жанра русской историографии — «монументальной истории», охватывающей период с древнейших времен до начала правления Петра Великого. См. об этом подробнее: Мойсеева Г.П. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С.19.

<sup>2</sup>Петр I, придавая серьезное значение древнерусским памятникам, издал указы в 1720 и в 1722 гг. о сборе рукописей в церквах и монастырях и об отправке их в Синодальную библиотеку.

Известно, что В.Н.Татищев начал свою деятельность историка как «любитель» с разыскания и собирательства древних русских летописей и других исторических источников. При этом он активно посещал не только монастырские библиотеки или хранилища, но и частные коллекции. Некоторые рукописные документы были дарованы Татищеву двумя собирателями древностей — А.П.Вольнским и П.М.Еропкиным. Более того, сотрудничество будущего историка с «любителями истории» пошло дальше по пути взаимных контактов: Татищев показывает Вольнскому и Еропкину первоначальную редакцию своего труда 1739 года «Собрание из древних русских летописцев», и они, ознакомившись с его работой, в «дополнение» дали материалы, которые он смог включить уже в новую редакцию «Истории Российской»<sup>1</sup>. Собираительство — это первый шаг в работе над созданием монументального исторического сочинения — обобщающего труда по русской истории. Важно отметить, что это также первый шаг читателя и писателя навстречу друг другу.

Можно сказать, что исходные позиции занятия историей у Татищева, Еропкина, Вольнского, как и других немногих любителей истории, были практически одинаковы, потому что «... дело было новое, все учились сообща — кто приемал науки, кто самому свойству и характеру материала ... Татищев же «был

---

<sup>1</sup>Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Л., 1961 г. Ч.1. С.227—228. Первая редакция «Истории Российской» «на древнем наречии» была подготовлена Татищевым в 1746 г. В этом же году он приступил к переводу «Истории» на «настоящее наречие» XVIII в. Впервые «История» была издана уже после смерти историка в 1768—1784 гг. Г.—Ф.Миллером и А.В.Олсуфьевым.

историком между делом», он был ученик Петра, по требованию которого способные люди должны были на все годиться... Кто-то «годился» к составлению словарей и карт, кто-то переводил или писал учебники по фортификации или всемирной истории. История в числе других областей человеческих знаний нужна была «для целей практических», то как учебник, как книга, для справок по разным текущим вопросам; с этой-то стороны и Петр заботился о сочинении истории; с этой же стороны принялся за нее Татищев, вызванный к историческим трудам потребностью знания истории для сочинения географии. «Литературные цели явились позднее...»<sup>1</sup>. Забегая вперед, можно утверждать, что большинство русских известных и мало известных историков XVIII века занимались историей «между делом», и начинали ее только тогда изучать, когда начинали писать. Историк С.М.Соловьев так оценивает исторический «дилетантизм» М.М.Щербатова: «Щербатов не ученый; он занимается историею как любитель; но он занимается историею для истории, сознает, или чтоб не сказать много, предчувствует в истории науку...»<sup>2</sup>.

Но Татищев был первым из любителей, занимающихся историей ради истории и состоялся как историк благодаря поддержке других любителей истории, а на его плечах «выстроилась» перевернутая пирамида историографов «первого, второго, третьего поколений» вплоть до Карамзина, вышедших из среды читателей — «образованных дилетантов», «любителей русской истории».

---

<sup>1</sup>Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики, Спб., 1882. С.212—213.

<sup>2</sup>Соловьев С.М. Писатели Русской Истории XVIII века... // Архив историко-юридических сведений... М., 1855, Кн.2. 1-я пол. II отделения. С.51.

Высокая цель — желание служить Истории и естественная «скромность», украшавшая непрофессионального историка, в общественном сознании, скорее всего, не отождествлялась с древнерусской традицией сочинительства. Дело было действительно новое, но основанное на вековых традициях «цельно-синкретического постижения исторической жизни», предполагавшей слияние двух начал — научно-историографического и художественного<sup>1</sup>.

В.Н.Татищев, искренне ощущая себя одним из многих, но в то же время облеченный особым долгом, решая задачу государственной важности, ввел в русскую историографию «новшество»: обращение историка к своим читателям посредством примечаний, «предъизвещений», вступлений, предисловий к историческим сочинениям. После Татищева в России не было ни одного историка, кто бы не использовал этот жанр, сопутствующий отныне каждому историческому труду.

В «Предъизвещении» к «Истории Российской» Татищев обратился с призывом заниматься русской историей к «любителям истории», своим читателям, разделявшим его патриотические чувства, так как «... нас европейские историки тем порицают, якобы мы историей древних не имели и о древности своей не знали» и поэтому «наипаче же нужна сия история не токмо там, но и всему ученому миру, что через нея неприятелей наших, яко польских и других, басни и сусчие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутся»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Тартаковский А.Г. История продолжается... // Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М., 1993. С.39.

<sup>2</sup>Татищев В.К. История Российская. М.; Л., 1962. Т. I. С.81.

Узнать правду о прошлом России стремились и иностранные историографы Г.–Ф.Миллер и А.Шлецер. Одним из первых, кто стал собирать российские древности и популяризировать русскую историю в России, был член Академии наук, самый «академический» историк Г.–Ф.Миллер.

Миллер издал на немецком языке сборники известий по русской истории<sup>1</sup>, где были опубликованы отрывки из летописи Нестора, из византийских писателей, жизнеописание Александра Невского, принимал участие во второй камчатской экспедиции, где разыскал документальные источники по истории края, записывал устные предания, собирал археологический материал. За всю свою жизнь Миллер собрал огромный архив, состоящий из древних рукописей, автографов, копий с ценных документов. Коллекция этих материалов, так называемые «Портфели Миллера», была куплена Екатериной II для московского архива Коллегии иностранных дел. Миллер, как и Татищев, задумывал написать монументальный труд по истории России, стерев многочисленные «белые пятна» с ее исторической карты. С этой целью он обращается к «любителям истории» за содействием в разыскании исторических сведений.

Известно, что многие ценные материалы по русской истории Миллеру представили крупные коллекционеры и рядовые «любители истории», которые помогли историку не только документами из домашних архивов, но и советами, делились с ним преданиями своего края.

---

<sup>1</sup>С 1732 г. эти сборники выходили под названием «Sammlung russischer Geshichte».



Первым шагом Миллера навстречу читателю — «любителю истории» были опубликованные им в «Ежемесячных сочинениях» за 1763<sup>1</sup> «Задачи», представляющие собой вопросы, связанные с «темными» местами в русской истории, ответить на которые предлагалось читателям<sup>2</sup>. Спрашивая, например, «почему часть города Москвы Китаем называется»<sup>3</sup> или «почему у Азиатов Русских монархов Белыми царями называли — и Россию Белой Русью»<sup>4</sup>, историк одновременно знакомил читателя с версиями, существующими по данной проблеме в русской и зарубежной историографии, а также со своими предположениями, сделанными на основании «всех Российских летописцев и Нестора преподобного с его продолжателями»<sup>5</sup>.

В августе того же года был опубликован первый ответ, данный на вопрос о Белой Руси, и принадлежал он историку, знатоку Оренбургского края П.И.Рычкову. Важно отметить, что первым, кто откликнулся на «Задачи» Миллера был один из начинающих историков, «любитель истории» П.И.Рычков.

---

<sup>1</sup>Г.—Ф.Миллер с 1755 по 1764 гг. являлся редактором издававшегося Петербургской Академией наук периодического издания «Ежемесячные сочинения», в котором публиковались отдельные статьи В.Татищева из его «Истории Российской», а также работы самого Миллера.

<sup>2</sup>Первые «задачи» появились в «Ежемесячных сочинениях» в 1755 году, однако в том же году их публикации прекратились и возобновились только в 1763 году.

<sup>3</sup>Ежемесячные сочинения. 1763. Февраль. С.191.

<sup>4</sup>Там же. Апрель. С.381.

<sup>5</sup>Там же. Август. С.128—129.

Он уже был подготовлен к диалогу с историописателем, так как к тому времени являлся сотрудником В.Н.Татищева по Оренбургской экспедиции, и в занятиях историей и географией в лице Татищева имел постоянного руководителя, и, следовательно, являлся одним из первых «обращенных» в новое дело «образованных дилетантов».

Однако ни содержание ответа, ни то, что первым читателем, откликнувшимся на «задачи», оказался начинающий историк, в данном случае не имеет значения. Для нас важен сам прецедент диалога, впервые установившегося между автором и читателем на страницах печатного издания.

Публикуя ответ, Миллер снабдил его своим примечанием, из которого читатель узнает, что «этой «задачи» решения не находится, чего по видимому надеются и не можно; однако всякой признавать должен, что Исторические и Географические разыскания здесь сообщенные вящей хвалы достойны»<sup>1</sup>. Из этого замечания историка следует, что хотя задача и не решена, однако сами догадки Рычкова способны принести пользу русской историографии уже тем, что пополнили историческое знание о предмете обсуждения. Как видно из последующих публикаций, Миллеру так и не удалось найти отклик у читателей, и хотя «глухо тогда было общество на зов науки; но уже начинала просыпаться любознательность в отдельных лицах: в Архангельске нашелся Крестинин, в Оренбурге — Рычков»<sup>2</sup>. Поэтому Миллер не теряет надежду: «Как ни рассуждает публика о заданных нам в прошедшем году задачах и коль мало ни нашлось ответствовавших на оные присланными к нам сочинениями: однакож мы уверены о пользе наукам и отечеству от таких трудов наших происходящей...»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Там же. С.120—121.

<sup>2</sup>Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. С.212.

<sup>3</sup>Ежемесячные сочинения. 1764. Январь. С.93. Выделено мной — Д.Н.

Говоря о непопулярности своих «задач», Миллер тем не менее не сомневается в их пользе и продолжает свои публикации в 1764 году. Вероятно, учитывая ошибки прошлого года, историк пытается изменить свою тактику в отношении к читателям, и его «Задачи» уже приобретают более конкретного адресата: например, жителей определенной местности, о которой имеются противоречивые исторические сведения: «Наименование города Углича тем кажется темнее, что у преподобного Нестора в лето 6422 упоминается народ Угличи, которые живали в низ по Днепру, и великим князем Игорем приведены были в подданство. Нет следу, чтоб Угличи переселились с юга под север, паче по Несторе заключить должно, что перешли жить на Днестор и там извелись. Следовательно, город Углич не мог от них получить наименования ... то не осталось ли у тамошних жителей какого-нибудь старого предания, или сказки, начало города и имени онаго изъясняющих?»<sup>1</sup>

Историк, конкретизируя поставленную проблему и ограничивая ее рамками определенной местности, таким образом сужает круг возможных адресатов своих «Задач». Ими становятся жители Углича, которые, по мнению историографа, могут помочь исследователю и себе расширить историческое знание о происхождении своего города. Здесь, безусловно, имеет место установка на читателя как на возможного помощника в решении спорных вопросов истории. Вероятно, для того, чтобы заинтересовать «неискушенного читателя», автор как бы в поощрение, авансом определяет своих адресатов в разряд «любителей истории».

---

<sup>1</sup> Там же. Апрель. С. 383—384. Текст «задачи» приведен здесь почти полностью в связи с тем, что композиция ее типична для всех «Задач» Г.-Ф. Миллера: 1 — факт, как он представлен у летописцев, 2 — противоречие или ошибка, обнаруженная историографом, 3 — сам вопрос, обращенный к читателям.

Среди тех «любителей истории», к кому обращается Миллер и Татищев, были и те, кто решил оказать услугу Отечеству и русской истории и самостоятельно заняться историческими изысканиями и сочинительством. Если П.Рычков принял решение «записаться в историки» под влиянием своего наставника по Оренбургской экспедиции В.Н.Татищева, то у А.П.Сумарокова, когда он увлекся изучением русской истории было два наставника — Г.-Ф.Миллер и М.М.Щербатов.

Литературные связи Сумарокова и Миллера относятся к концу 40-х годов, когда поэт начал печатать свои произведения в «типографии Академии наук»<sup>1</sup>. С 1756 года Миллер, возобновивший издание «Ежемесячных сочинений», часто общался с писателем, который, начиная с мартовской книжки, печатался почти в каждом номере. Письма Сумарокова к Миллеру представляют собой пример «обратной связи» — связи «любителя истории» с историком. Как известно, Сумароков обратился к истории в сложный период своей жизни, сразу после переезда в Москву в 1767 году.

Еще не распаковав своих книг, «заваленный домашними делами», писатель уже просит у Миллера российские древности: «Прошу Вас дать мне московские исторические журналы»<sup>2</sup>.

Сумароков тщательно изучает материалы из собраний Миллера и задумывается над тем, в каком виде их можно было бы издать: «Мне кажется, что такие журналы должны быть совсем по-иному подготовлены, если им предстоит увидеть свет;

---

<sup>1</sup>Берков П.Н. Шесть писем А.П.Сумарокова к историографу Г.-Ф.Миллеру (1767—1769) и четыре записки последнего к Сумарокову // XVIII век. М.; Л., 1987. Сб.5. С.376.

<sup>2</sup>Цитируется по указ.ст. П.Н.Беркова (см. выше). С.378. Под журналами имеются в виду поздние летописи и дворцовые записные книги, находившиеся в собрании Миллера, и которые писатель назвал «Russische historische Journals».

ведь в рукописях много бесполезного, очень часто однообразные записи и утомительные повторения»<sup>1</sup>. Такой подход Сумарокова к архивным источникам свидетельствует об эволюции исторического сознания писателя. Между первым письмом 1767 года и этим пятым по счету 1769 года сочинитель проходит путь от читателя истории («образованного дилетанта») до историографа. Так, уже в 1768 году, на основании полученных им от Миллера материалов, писатель издает первое свое историческое сочинение «Первый главный стрелецкий бунт, бывший в Москве 1682 года, в месяце мае». Почувствовав себя причастным к «новому делу» — историографии, Сумароков хочет заручиться поддержкой другого историка «первого поколения» М.М.Щербатова, и вероятно, находит ее у историка<sup>2</sup>. Первый наставник Сумарокова — Миллер, способствует более близкому знакомству Сумарокова с Щербатовым, о чем свидетельствует записка Миллера, адресованная писателю: «... прошу Вас быть у меня в ближайший понедельник на обеде. Князь оказывает мне честь — он будет на обеде. Мне с трудом удалось вырвать у него этот день, день его отъезда. Захватите с собой, пожалуйста, те произведения, которые стоит ему показать»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Там же. С.378.

<sup>2</sup>П.Н.Берков ссылается на письмо Сумарокова к Миллеру от 21 марта 1771 года, где писатель отзывается о Щербатове как об их общем приятеле. Указ. соч. С.382.

<sup>3</sup>Там же. С.381—382. А.П.Сумарокову принадлежат следующие сочинения на историческую тему, которые он безусловно относил к собственно историческим сочинениям: Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве 1682 года, в месяце мае. Спб.1768. Сокращенная повесть о Стеньке Разине. Спб., 1774. Краткая московская летопись. Спб., 1774. Второй стрелецкий «бунт», «Краткая история Петра Великого», «О первоначалии и создании Москвы» при жизни писателя отдельно не выходили и вошли только в более поздние издания сочинений А.П.Сумарокова.

Таким образом, Сумароков как «любитель истории» пришел в историографию при содействии двух известных историографов Г.–Ф.Миллера и М.М.Щербатова. При этом важным моментом является роль Миллера в становлении Сумарокова как историографа: расширение круга лиц, занимающихся русской историей входило в планы академического историка, пекущегося о составлении наиболее полного сочинения по истории России, где каждый «любитель истории», а тем более наделенный талантом художника, смог бы попробовать себя во имя «обоюдной пользы». Можно сказать, что «второе и третье поколение» историков появилось в том числе и благодаря непосредственному влиянию историков «первого поколения» В.Н.Татищева и М.В.Ломоносова, Г.–Ф.Миллера и М.М.Щербатова.

История Я.Штелина, на наш взгляд, еще один пример того, как историография («новое дело») постепенно перестает быть делом отдельных академических историков и становится любимым занятием в кругах «образованных дилетантов», готовых служить ему не ради личной славы, а ради пользы Отечеству. «Образованный дилетант» Якоб Штелин, составитель известных «Подлинных анекдотов о Петре Великом»<sup>1</sup> еще, вероятно, не задумываясь об их издании в свет, обладая скромностью подлинного «любителя истории», посылал анекдоты М.М.Щербатову. Через несколько лет, решив издать анекдоты, Штелин пишет историку письмо, где напоминает, что он «имел честь передать» эти анекдоты «его превосходительству», и что теперь он не решится никоим образом издать публично первый том, прежде чем не узнает «дружеское мнение» Щербатова, «беспристрастное» и «искреннее»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Первое издание на немецком языке вышло в 1785 году.

<sup>2</sup>Цит. по: Маллиновский К.В. Записка Якоба Штелина о Прутском походе Петра I // Русская литература. 1982. №2. С.167.

М.М.Щербатов, проявив благосклонность к начинающему историку, дополняет присланные Штелиным материалы о Петре I анекдотами о Прутском походе императора.

Штелин издает не монументальную историю России, но наиболее полное собрание известий о времени правления Петра Великого, в котором стремится воссоздать монументальный образ царя во «всех деталях и ипостасиях». А для этого он обращается к тем очевидцам, «кто еще жив» и в чьей памяти еще не стерлись рассказы отцов и дедушек о славном времени. Безусловно, жанр анекдота подразумевал наличие его носителей, к которым за вспоможением и обращался «любитель истории» Штелин. Здесь обращает на себя внимание сама методика собрания исторического материала, в результате которой к процессу создания сочинения подключается все большее и большее число людей. В письме Штелина к Щербатову речь идет о трех категориях «любопытной до всего, что касается Петра Великого» публики.

Во-первых, это те, кто «еще помнит», то есть обладает «исторической памятью» и готов поделиться с другими своими воспоминаниями. Кроме того, это «несколько иностранцев, которые просят посмотреть или перелистать» анекдоты у историка. Наконец, те, кто мог бы продолжить благородную миссию Штелина, то есть «любители истории», вероятно, будущие историки.

Якоба Штелина, как и Татищева, Миллера, Щербатова, отличает отсутствие желания личной славы. Он неоднократно подчеркивает, что его цель — забота о «славе России», поэтому «указал в предисловии с самого начала — пробудить многих других русских патриотов и почитателей Петра Великого подражать мне на пользу ему и превзойти меня, собирая тысячи других анекдотов...»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Там же. С.167.

Таким образом, Штелин не относится к своему сочинению как к некоей собственности. Выступив как собиратель исторических источников и даже не успев прослыть историописателем, Штелин обращается к своим современникам — «любителям истории» с просьбой продолжать дело создания «Истории Петра Великого» или истории России в период правления Петра I. Историография становится «похвальным трудом», причем добровольным, а не по «указу», как это было в петровское время. Ф.Эмин в предисловии к своей «Российской истории», полемизируя с возможным оппонентом, восклицает: «Но можно ли нам от столь похвального труда уклоняться? Не должно ли каждому честному гражданину свои употреблять силы дабы возможные Отечеству оказать услуги?»<sup>1</sup>.

Среди совсем забытых «любителей истории», откликнувшихся на патриотический призыв «заниматься историей», был и некто Никита Иванов, протоколист Правительствующего Сената, о пристрастии к историописательству которого мы не узнали бы ничего, если бы не стихотворная эпитафия историка «второго поколения» В.Рубана. Дело в том, что Никита Иванов сочинил «Российскую историю от Рюрика до наших дней», но не издав ее, умер в 1770 году в Москве.

Эпитафия Рубана очень напоминает предисловие к историческому сочинению второй половины XVIII века, в котором историк, обращаясь к читателям, обычно раскрывал этапы своего пути к историческому сочинению. Только в предисловии повествование ведется от лица самого сочинителя, а в эпитафии от лица одного из его «благодарных» современников. Эпитафия начинается обращением к читателю, а не к «прохожему». Несмотря на то, что труд Иванова не был опубликован, Рубан адресуется это стихотворение его

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб. Т.I. С.XII.



потенциальному читателю — «любителю истории» — «образованному дилетанту», который должен принять эстафету умершего историка.

«Читатель! чтя сие сердечно воздохни,  
 И здесь лежащего Никиту помяни.  
 Он Росских древностей прилежный был искатель;  
 Деяний наших стран рачительный писатель.  
 Весь век трудился он в снисканье Росских дел,  
 И летопись свою до поздних лет довел,  
 Желая оную доставить вскоре свету,  
 Разумных в чем людей он следовало совету,  
 Которыми за труд любим был сей творец;  
 И изготова уж Истории конец,  
 Тиснению ее предать было он тщился,  
 Но смерти скоростью вдруг чувств своих лишился;  
 В безвестности, но нам остались те дела,  
 Которым в свете быть судьба не довела  
 Сей действию судьбы читатель удивился,  
 И искренну мольбу к Творцу небес пролей:  
 Да праведных в числе писатель будет сей»<sup>1</sup>.

Таким образом, В.Рубан спешит уверить читателя, что писательский труд, в частности труд историка, есть «спасение души человеческой». Здесь уместно вспомнить, что Петр I словом своим закрепил, что «исполнение звания есть спасение, а не одно монашество», что позволило в XVIII веке вывести «писательство за круг обязанностей ученого монашества»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев, министров и градоначальников, богов и героев древнего язычества и т.д. М., 1790. Ч. I. С.125.

<sup>2</sup>Панченко А.П. О смене писательского типа в петровскую эпоху // XVIII век. Л., 1974. Сб.9., С.124.

Следовательно, любой, кто отважился вступить и на историографическое попрание, мог легко снискать себе благодарность Отечества, современников и потомков и «спасение» после смерти. Но здесь, на наш взгляд, прослеживается отличие в восприятии «долга» в петровскую эпоху и «долга» в 60—70-е годы XVIII века. «Литературный поденщик», пишущий «по заказу или прямо по указу» начала века, сменяется писателем, сочиняющим по «внутреннему убеждению» или даже «по обету». Несмотря на то, что «заказы» на «сочинение» истории были распространены и во времена правления Екатерины II, для многих историков это стало личной потребностью, делом всей жизни. Можно с уверенностью сказать, что именно в историографическом творчестве В.Н.Татищева происходит переход от обращения к истории по «заказу» (когда он занялся на службе историей только для того, чтобы пополнить географические знания) к внутреннему убеждению, обету подчинить свою жизнь служению истории ради самой истории.

Но среди историков «второго и третьего поколения» были и те, кто «занялся историей» во имя личных интересов: для удовлетворения нередко ими двигало стремление заткнуть за пояс своего оппонента, опередить своих коллег по писательскому цеху. Если речь идет об историке из среды рядовых читателей — «любителей истории», то мотивом здесь могло стать тщеславное желание развенчать авторитет или приблизиться к бывшему или настоящему кумиру. Историк, вставший на плечи своих предшественников, воспользовавшись плодами их труда, мог легчайшим образом примкнуть к цеху писателей. При этом следует учитывать, что с 60-х годов историография становится популярным занятием, и у историков растет читательская аудитория. Но, поощряя читателя-неофита вступать в ряды историков, историографы «первого поколения» не подозревали, что постепенно разрушают писательскую элиту,

состоящую с начала века из одописцев, драматургов и теснят исторической прозой первостепенные жанры классицизма.

Известно, что почти все писатели «первого и второго поколения» обращались к своим читателям со страниц предисловий, «предъизвещений», вступительных статей к своим историческим сочинениям. Обращение к читателям с призывом о сотрудничестве в занятиях русской историей становится традиционным для «докарамзинского» периода русской историографии. Задействовать читателя в «новом деле» стало привычным и для историка — «недавнего» читателя.

Поэтому не удивительно, что в конце века Федор Туманский, предпринимая издание «Российского магазина» и рассчитывая, вероятно, на успех, смело обращается к «любезным соотчичам» со следующей просьбой: «Позвольте воззвать вас к открытию многих сокрытых источников, нужных к познанию России, драгоценного отечества нашего; потрудитесь ко благодарности современников и потомства извлечь из тьмы, а может быть и от гибели сохранить многие бумаги, относящиеся к истории церковной, гражданской, естественной, к географии и повестям, к нравоучению и хозяйству ...

Позвольте просить вас: делать примечания на сообщаемое в сем Магазине, исправлять ошибки, указывать погрешности, пополнять пропущенное. О сон!»<sup>1</sup> Это был не сон. В 90-е годы Ф.Туманский имел уже все основания ожидать отклика на свой призыв, так как к концу столетия в русской историографии появилось большое число «любителей истории», кто ранее откликнулся на призыв Г.-Ф.Миллера или В.Татищева, позднее — Ф.Эмина и И.-Ф.Богдановича, помогая историкам либо редкими документами из семейного архива, либо благожелательным советом.

---

<sup>1</sup>Российский Магазин / изд.Ф.Туманский, 1792—1794. Ч. 1. С.546.

Продолжил эту традицию обращения к читателю в период своей работы над «Историей государства Российского» и Н.М.Карамзин. Так, К.Н.Бестужев-Рюмин, отмечая интерес Н.М.Карамзина к вещественным памятникам — свидетельствам истории, писал: «Он собирает все известия о святыне, хранимой в ризницах, о раскопках, кладах, зданиях, — словом, обо всем, что сохранилось от жизни наших предков. Когда в наличных источниках он не находил требуемых сведений, то вступает в переписку с местными жителями и получает нужные сведения на месте»<sup>1</sup>.

Таким образом, связь между писателем истории и читателем, начиная с миллеровских «Задач» со временем становилась двусторонней. Ф.Эмин был одним из первых историков «второго поколения», кто в предисловии к I тому «Российской истории», моделируя образ своего возможного читателя — «благочестивого», «разумного» «любителя истории», обращается к нему с просьбой: «Но если в сем моем труде същутся ошибки, которых может статья я для того и не видел, что они не мои... то, оныя в первых моих промах приметит прошу меня о том уведомить, добы я впрядь оных зберечься мог»<sup>2</sup>. Но, вероятно, Эмин еще не «видел» того читателя, к которому обращается, характеризуя его читатель. Он ориентируется прежде всего на жанровый образ «жадного до исторического знания» читателя, т.е. не на такого читателя, который был в действительности, а такого, который мог бы быть. Однако после выхода в свет первого тома «Истории» у Эмина появилась возможность познакомиться с реальными читателями его исторического сочинения.

<sup>1</sup>Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. Спб., 1882. С.228.

<sup>2</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1768. Т. II. Предисловие. С.3

В предисловии ко второму тому историк благодарит читателей за первые отклики на первый том его «истории»: «... и теперь просьбу мою повторяю, надеясь, что успею в сем моем желании; ибо нам только мою Историю отдал в печать, то Господин Полковник Дьяков сообщил мне много таких записок к Истории Российской принадлежащих, которые я еще не имел, и некоторые свои примечания весьма для меня полезныя. Шляхетного Сухопутного Кадетского Корпуса Господин Подполковник Свистунов, так же сообщил мне некоторыя на мою Историю свои рассуждения, справедливость которых побудила меня переменить в начале перьваго тома несколько мест, а иныя дополнить»<sup>1</sup>. Можно сказать, что «господа» Дьяков и Свистунов — это те первые «любители Российской истории», на которых ориентировался в своих «Задачах» Миллер (см. выше) и на которых рассчитывали свои сочинения многие историки XVIII века. Обращает на себя внимание тот факт, что сквозь «жанровый» образ читателя — «любителя истории», фигурирующий в предисловиях к историческим сочинениям, проступают черты реальных личностей. Эти читатели сделали первые шаги в истории, «стараясь об общей пользе», и стали в то же время критиками собственноисторического сочинения. Характерно, что один из них помог историку, предоставив исторический документ, а другой — свои рассуждения на историческую тему. И то, и другое для Эмина-писателя и Эмина-историка было одинаково важно. В предисловии к третьему тому сочинитель еще раз вспоминает «Подполковника Свистунова» с благодарностью.

Как видно из приведенных примеров, читатель все чаще отзывался на призыв историка о «воспомоществовании» в освоении исторического знания, восстанавливая утерянные звенья в исторической цепи событий.

---

<sup>1</sup>Там же. С.3.

Таким образом, можно сказать, что после периода «отчуждения» в отношениях читателя и писателя в конце XVII — первой половине XVIII века наступает период «потепления», последствиями которого были воспитание читателя исторической литературой: формирование его взглядов на историю, эстетического вкуса, критических способностей.

Историки «первого поколения», сочиняя монументальную историю России, «воспитывали себе читателя», «стараясь» «об общей пользе», не придавая этому процессу такого значения, какое придавал, например, писатель-просветитель Н.И.Новиков. Расширение и воспитание читательской аудитории в 50—60-е годы XVIII века проходило в процессе обоюдной заботы читателя и писателя об исторических судьбах России. Часто в результате такого сотрудничества историк и получал нужную ему информацию, а читатель из простого «любителя истории» превращался в читателя-неофита или даже историка. Известно, что неофитство, по словам А.С.Демина, соединяет в себе «две крайности — увлеченность новым делом и неискушенность в нем». Неофитизм — это явление, которое было характерно и для древнерусского читателя. Остановимся на этом подробнее.

Как отмечает А.С.Демин, читатель XI—XII веков с точки зрения древнерусского книжника — явление противоречивое: «с одной стороны, по их мнению, читатель «страстно порывается к «сладоности книжныа», с другой же стороны, читатель не всякую «сладоность» может усвоить, желает чтения попроще да полегче, постоянно отвлекаемый практическими делами». Из этой характеристики древнерусского читателя, по мнению Демина, следует, что «это специфическая разновидность читателя — не теоретика, а практика в жизни, преклоняющегося перед книгой, но далеко не изошренного в чтении. Перед нами образ читателя-неофита»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Демин А.С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков. (Общественные настроения). М., 1985. С.270.

Читатель-неофит XVIII века, так же как и древнерусский читатель, не всякую «сладость книжныа может усвоить». Неискушенность читающей публики в чтении так называемых «пространных» сочинений, к коим относились и труды по истории, повлияло на историков «первого и второго поколения» таким образом, что они стали ориентировать исторические сочинения главным образом на тех читателей, кто хочет «легчайшим образом» получить «нужнейшие» сведения, но не всякую «сладость книжныа может усвоить». Поэтому можно говорить о том, что весь корпус предисловий к собственноисторическим сочинениям второй половины XVIII века также образовывался на основании ориентации историка на своего читателя с целью помочь ему «усвоить сладость книжную».

В России с конца XVII века литература формировалась в основном под воздействием потребностей читателей. Но и до XVII века читатель часто господствовал над автором, так, например, «комплекс предисловий в литературе Киевской Руси формировался под воздействием потребностей читателя-неофита»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Там же. С.270.

Здесь следует учитывать специфику древнерусских «предисловий». Например, «предисловие» к житию и по содержанию, и по форме привязано к основному тексту и является по сути частью всего текста. Кроме того, содержание этих «предисловий» было обусловлено не столько «потребностями» читателя, сколько религиозными и нравственными исканиями летописцев.

Известно, что традиция «летописного предисловия» возникла почти одновременно с летописанием на Руси, а позднее предисловие сопутствовало и другим жанрам древнерусской литературы<sup>1</sup>. Опираясь на классификацию А.С.Демина и отстраляясь от нее, попробуем объяснить и более поздние явления, такие, например, как предисловия к историческим сочинениям XVIII века.

Предисловия в традиции Древней Руси были необходимы древнерусскому книжнику, чтобы сообщить читателю скудные сведения о себе и о том, при каких условиях и с какой целью создавался труд. Обращение к современникам, а может быть и к потомкам, как правило, было выведено за пределы самого текста летописи или жития и существовало только в рамках летописных предисловий и послесловий. Как уже было сказано выше, В.Н.Татищев был первым, кто сопровождал исторический труд предисловием, где поделился с читателем трудностями, встретившимися на его пути в исследовании древностей, предостерег читателя о возможных трудностях восприятия нового для них рода сочинений, а также предложил «любителям российской истории» сотрудничать во имя общего блага. Поэтому совершенно естественно предположить, что В.Н.Татищев продолжил традицию летописного предисловия, обогатив тем самым историографию. А.С.Демин, изучая проблему взаимоотношений между читателем и писателем, обращает внимание на то, что «традицию летописных предисловий и послесловий никто специально не изучал»<sup>2</sup>. Поэтому исследователь считает важным обратиться к этой традиции, видя в ней решение вопроса о том, каков же был характер отношений между читателем и писателем в XVI—XVII веках.

---

<sup>1</sup>Там же. С.10.

<sup>2</sup>Там же. С.10.



Безусловно, предисловие к собственноисторическому сочинению XVIII века трансформировалось со временем, но основные положения, традиционные для «летописного предисловия», стали частью литературного этикета в предисловиях собственноисторических сочинений и в «новое время». Так, по классификации А.С.Демина, предисловия с XV по XVII века можно разделить на «летописные» и «автобиографические». В «летописных» предисловиях летописец, как правило, рассказывал о том, где, когда, при каких обстоятельствах писалась эта летопись, кто ее заказал и почему. «Автобиографические» сведения вставлялись в послесловия преимущественно к большим агиографическим сочинениям. Авторы или переводчики рассказывали о своих сомнениях и трудностях при составлении сочинения. Таково, например, предисловие Нестора к «Чтению о житии и погублении Бориса и Глеба» конца XI — начала XII веков. В XV—XVI веках автобиографические рассказы предваряли уже сочинения других жанров, например, «Повесть о новгородском белом клобуке», «Хронограф» и другие. До XV века автобиографические и летописные вставки почти никогда не соседствовали, «однако в XV веке начала складываться новая разновидность распространенных предисловий и послесловий, связавших воедино сведения государственного и частного характера»<sup>1</sup>.

Так, предисловие становилось объемнее, включая в себя информацию, важную для читателя: кем был автор, с какой целью, преодолевая какие трудности, пришел сочинитель к своим современникам или потомкам. Сведения постоянно сопровождались и покаянными словами автора, где он раскаивался в своей писательской беспомощности и ничтожности простого смертного: «аз многогрешный», «слабым пером», «ничтожный» и т.д.

---

<sup>1</sup>Там же. С.12.

Самоуничижительный, покаянный тон древнерусского книжника становится обязательным для книжника и является «частью литературного этикета, который распространился и на эту часть сочинения. «Словесные формулы», в которых выражалась саморазоблачительная интонация авторов, повторяются почти дословно во всех предисловиях (или послесловиях), вплоть до XVII века и с течением времени превращаются в «текстовые клише», даже типовые предисловия.

По мнению А.С.Демина, комплекс предисловий древнерусской литературы отразил отношение предупредительности и уважения древнерусского писателя к своим читателям, так как от читателей ожидалась приводящая в трепет требовательность к истинности и полезности сочинений. Поэтому авторы и книжники, извиняясь перед читателями, непременно заверяли в предисловиях и послесловиях или с полной ответственностью переписывали и повторяли такие заверения: «не от своего сердца (или умышления) сия изношю слова, нъ творим повесть, възомлюще от святаго евангелія»<sup>1</sup>.

Кроме того, в предисловии обычно автор оправдывал само появление сочинения или переписывание сочинения предшественника пользой для читателей: «Слово «польза» повторялась в предисловии сотни раз»<sup>2</sup>.

В начале XVII века «отношение писателей к читателям стало небывало предупредительным. Авторы обильно предупреждали о тематике произведений: подробнейшие оглавления или сжатое изложение содержания предшествовали сочинениям»<sup>3</sup>.

Потрясения Смутного времени привели к тому, что писатели стали интересоваться психологией читателей, стали следить за реакцией читателя. Русские книжники стали уделять внимание воспитанию своих читателей;

---

<sup>1</sup>Там же. С.263.

<sup>2</sup>Там же. С.263.

<sup>3</sup>Там же. С.74.

они поучали, отсылали их к авторитетным источникам, формируя на страницах своих предисловий тип образованного читателя и представление о нем.

Так было в конце 1610-х — начале 1620-х годов. Позже обходительность писателей по отношению к читателям исчезла, как и исчезло почтительное отношение читателей к сочинителям. «Частные обращения к читателям сохранились, но стали суше и формальнее»<sup>1</sup>.

Как уже было сказано ранее, в конце XVII века в отношениях между писателем и читателем наступает период «отчуждения», который длится до 50-х годов XVIII века.

Изучение корпуса предисловий и примечаний к собственноисторическим сочинениям, издаваемым с конца 50-х годов, привело нас к убеждению в том, что писатель и читатель, долгое время существующие в литературе классицизма как «жанровые образы», приобретают индивидуальные особенности (качественные характеристики) благодаря обоюдному интересу, проявленному ими к русской истории. Можно предположить, что комплекс предисловий к собственноисторическим сочинениям XVIII века, как и летописные предисловия, формировался под воздействием читателя-неофита, но новым стало то, что под влиянием этих предисловий формировался и сам читатель как «культурно-историческая категория», так как предисловия являлись «ключом» к общей тенденции, господствовавшей в собственноисторической литературе второй половины XVIII века, а именно: ориентации историков на вкус и потребности читателей. Причем историографы практически не разделяли просвещенческих и собственноисторических задач предпринятого ими дела. Задачи эти заключались в том, чтобы «воспитать нравственность» современников и одновременно «воспитать» «своего читателя».

---

<sup>1</sup>Там же. С.76.

Надо отметить, что эти задачи были актуальны и для писателей XVIII века — М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова, Н.И.Новикова. Но только привлечение читателей к участию в процессе создания монументальной истории России могло способствовать решению как просветительских (в широком смысле этого слова), так и собственноисторических задач, не исключая при этом и писательскую заинтересованность в расположении к своим сочинениям широких слоев читательской аудитории.

Н.И.Новиков впервые обратился напрямую к «публике» со страниц своих сатирических журналов «Трутень», «Живописец», «Кошелек», положив тем самым начало «живого слова» писателя, способного оказать действие на нравственное чувство читателя. Однако известно, что обращение «издателя» к «читателям» и письма «читателей» к «издателю» является лишь имитацией «живого» диалога между писателем и читателем.

Анонимность «допущения» Екатерины II в издательское дело позволило, с одной стороны, продолжить традицию сатирической литературы Древней Руси, а с другой — узаконить жанровый характер образов автора и читателя в литературе классицизма. В результате этого на страницах сатирических журналов, издаваемых Н.И.Новиковым, Ф.А.Эминьим, М.Д.Чулковым, В.Г.Рубаном, как «издатель», так и «читатель» являлись лишь «внутритекстовыми персонажами», наделенными качествами, заданными жанром. Эти «качественные» особенности персонажей представлены уже в их «говорящих фамилиях», а за персонажем «издателя» закреплена определенная характеристика, связанная с его просветительской и разоблачительной позицией.

Таким образом, ни литература классицизма, ни просветительская публицистика не способствовали разрушению «жанровых образов» «писателя» и «читателя» и установлению «живого контакта» между писателем-просветителем и «воспитуемым», или читателем.

Между тем, Н.И.Новиков продумывал иные способы «воспитания» нравственности читателей, так как он был, по словам Ю.М.Лотмана, «воспитатель, продумывающий поэтапность воспитания с тем, чтобы каждый раз давать воспитуемому посильное и понятное, последовательно усложняя задачу»<sup>1</sup>. Поэтому неслучайным было его обращение к истории России за поучительными примерами для «публики».

Н.И.Новиков не был историком, и сам не занимался историей. Он был издателем исторических источников. Поэтому, естественно, «что при издании памятников посредниками должны были стать люди, связанные с Новиковым личными или деловыми контактами, которые в то же время были хранителями, собирателями или исследователями рукописного наследия Древней Руси»<sup>2</sup>.

Так, Новиков идет по пути «сбирательства исторических свидетельств», проторенному до него В.Н.Татищевым, Г.–Ф.Миллером и М.В.Ломоносовым. В процессе знакомства с историческими документами Новиков обращается к тем, кто занимается историей профессионально, как, например, архивариус Библиотеки Академии Наук А.И.Богданов, или «любительски», как «колежский ассесор» Петр Кириллович Хлебников, первый представивший Новикову документ. Это были реальные люди, а не «жанровые образы», подлинные «любители российских древностей», чье нравственное становление происходило во многом под влиянием любимого дела — исторических изысканий.

---

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С.276.

<sup>2</sup>Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С.37. Исследователь в работе определяет круг лиц, давших Новикову возможность ознакомиться с древними памятниками.

У Новикова были иные цели, нежели у «первых историков». В истории Новикова более всего интересовала нравственная сторона исторических событий, и те уроки, которые могут извлечь из этих событий его современники.

Первое издание исторических документов «Древняя российская вивлиофика» (1773—1775), которое осуществляет Н.И.Новиков, представляет собой «свод» практически не адаптированных текстов и исторических документов (актов, летописей), которые были собраны им с целью заинтересовать читателя «русской историей». Новиков думает прежде всего о своем читателе, на что указывает традиционное для исторического издания предисловие, в котором заключена цель предпринятого им дела: «К тебе обращаюсь я, Любитель Российских древностей! Для твоего удовольствия и познания предпринял я сей труд. Ты можешь собрать с сего полезные плоды и употребить их в свою пользу»<sup>1</sup>. Однако Новиков как «воспитатель, продумывающий поэтапность воспитания» на этот раз затрудняет «воспитуемых», возлагая на них «бремя неудобь носимое», а именно: содействовать издателю в издании исторических материалов: «Остается мне, просить благосклонных моих читателей о вспомоществовании мне в сем издании: ибо хотя я уже и имею самого разных любопытства достойных списков, для наполнения сего издания, но может быть у охотников хранится еще достойнейше оных. И так если соблаговолишь ты, любезный читатель, учинить мне сие вспоможение, то сообщи таковую книгу к переплетчику Миллеру, а я списав оную возвращу вам в целости с засвидетельствованием моея благодарности»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Древняя российская вивлиофика... Спб., 1773. Ч.1  
Предисловие.

<sup>2</sup>Там же. Предисловие.

Как видно из предисловия, Новиков решительно настроен вовлечь читателя в живой разговор прежде всего ради «пользы» самого читателя. Следует напомнить, что летописное предисловие не включало в себя подобное обращение книжника к читателю за «вспоможением». Этот новый элемент предисловий к собственноисторическим сочинениям XVIII века должен был помочь преодолеть «отчуждение» читателя и писателя ради «обоюдной пользы».

В этих предисловиях историк или издатель стремится представить себе своего читателя, моделируя такой идеальный образ «любителя российских древностей», который «не имеет отвращения от сухого, грубого и странного для нас старинного слога», кого «не мучит колика от частых повторений слов», кто, взявши старинную книгу, «не почувствует худого запаха и гнили; и пыль, покрывающая сии Древности не «задушит» его»<sup>1</sup>.

В Предисловии Новиков старается создать иллюзию живого разговора, непринужденной беседы со своим слушателем, от которого (что важно!) издатель ничем не отличается: «Вы благосклонный Любитель Российских Древностей, вы думая, также как и я, часто сему удивляетесь, что старинныя книги в сем вреда ни какого не делают, как протчим: но если позволите мне то я сообщу вам догадку о том одного знакомого мне человека»<sup>2</sup>.

Безусловно, что охарактеризованные выше персонажи «читателя» и «издателя» сатирических журналов Новикова «переселяются» и на страницы предисловий Новикова к издаваемым им «сводам» «российских древностей». Однако здесь имеется значительное отличие: Новиков стремится разрушить стену между собой и реальным читателем и поэтому хочет вызвать читателя на диалог.

<sup>1</sup>Новиков Н.И. Повествователь Древностей Российских... Спб. 1776. Ч. 1. К читателю. С.75—76.

<sup>2</sup>Там же. С.76.

Он ждет ответа, как ждал его Миллер после публикации своих «Задач», Татищев, Эмин и многие другие историки. Кроме того, он «наполняет» образ читателя конкретными положительными характеристиками, среди которых определяющей должна быть характеристика «любителя российских древностей».

Все остальные качества, которые просветитель хотел бы видеть в «воспитуемом» современнике, являются лишь ее производными. Важно и то, что в этой характеристике заключена идея общности интересов писателя и читателя. При этом читатель из широкой категории «современники» или «соотечественники» автоматически причисляется Новиковым к более узкой, но элитарной категории «любителей российских древностей», к которой принадлежит и сам издатель, а также многие другие не менее известные в России персоны. Причем, эти «любители российской истории» как персонажи новиковского предисловия имеют и своих антиподов, персонажей его сатирических журналов — господ, которые заражены французскими натуральной системы книгами, пудрою, помадою, картами, праздностию и всякими наружными украшениями и бесполезными увеселениями»<sup>1</sup>.

Конечно, «благоразумный читатель», прочитав такую характеристику, с большим удовольствием отнес бы себя к «любителям древностей». Тем более, что у него в таком случае могла появиться возможность быть упомянутым издателем в числе известных историков, отозвавшихся на призыв Новикова о «вспомоществовании». Среди тех, кого Новиков благодарит за оказанную помощь в подготовке второго издания «Древней российской вивлиофики», были Н.Н.Бантыш-Каменский, М.М.Щербатов, Г.—Ф.Миллер.

---

<sup>1</sup>Там же. С.76.



Одним из традиционных элементов летописного предисловия явилась «самоуничижительная интонация» летописца. В предисловиях к своим собственноисторическим сочинениям В.Н.Татищев и Г.-Ф.Миллер, Ф.А.Эмин, М.М.Щербатов, И.Ф.Богданович соблюдали эту традицию. Не избежал этого и Новиков, признаваясь в своих «упущениях» заранее, чтобы не отвратить от дальнейшего чтения «искушенного» «читателя-неофита» и не вызвать гнев неподготовленного читателя. «Наконец если усмотришь ты, благосклонный читатель, какие погрешности мои, или недостатки в сем издании легко быть могущие; то упусти мне оные, памятуя, что в начале своем ничто не может быть совершенно»<sup>1</sup>.

«Упущения» издателя в первом издании «Древней российской вивлиофики» были очень явными. Морализаторский тон и заигрывания с читателем в предисловии не способствовали расширению читательской аудитории за счет «неискушенного» в чтении исторических документов образованного читателя. Вероятно, главное «упущение» Новикова состояло в том, что он рассчитывает в первом издании «Древней российской вивлиофики» на определенного «искушенного» читателя — любителя древностей, кому не будет помехой древнее наречие, частые скучные повторы слов старых документов, кто будет находить удовольствие в том, чтобы разбирать «древние хартии» и кто, как рекомендовал еще в 1757 году Семен Порошин, будет «сравнивать приключение с приключением, искать между ними сходство, пространно описанное сокращать»<sup>2</sup>.

Таких ценителей в России в 70-е годы было, безусловно, немного.

<sup>1</sup>Древняя российская вивлиофика. Спб., 1773. Ч.1. С.4.

<sup>2</sup>Порошин С. Письмо о порядках в обучении наук // Ежемесячные сочинения. 1757. Кн.2. С.134.

Можно даже сказать, что Татищев и Миллер совершили прорыв в отношениях читателя и писателя и способствовали демократизации этих отношений гораздо раньше, чем это сделал Н.И.Новиков. В.Н.Татищев не только в предисловии декларировал необходимость тесного сотрудничества историка и читателя, но и доказал свою позицию тем, что пошел навстречу читателям, переделав первую редакцию «Истории российской» под воздействием критики со стороны отдельных «любителей истории». Естественно, что В.Н.Татищев, прибегавший в создании своего сочинения к помощи «собираателей древностей», «образованных дилетантов» познакомил некоторых из них с рукописной редакцией «Истории», написанной «тем порядком и наречием», каковы в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написаны, ни переменяя, ни убавляя из них ничего, кроме ненадлежащего к светской летописи»<sup>1</sup>. В.Н.Татищев, создавая первую редакцию «Истории», больше всего боялся «не погубить вероятности» и скорее всего не думал о том, как примет сочинение читатель. Но, по словам историка С.М.Соловьева, «одни из современников его, имевшие понятия о древних и новых исторических трудах, нашли труд Татищева странным по форме; видя в тексте свода одну летописную перечень событий, отсутствие красивого рассказа, рассуждений и выводов самого автора, заключили, что последний не имеет философии, что следовательно труд ничтожен»<sup>2</sup>. Другими словами, «летописный» характер татищевского сочинения лишил его эстетической и научно-познавательной ценности в глазах некоторых «образованных дилетантов».

---

<sup>1</sup>Татищев В.Н. История российская... М.; Л., 1962. Т. I. С.91.

<sup>2</sup>Соловьев С.М. Писатели Русской Истории XVIII века... // Архив историко-юридических сведений... М., 1855. Кн.2. III отд. I половина. С.36.

И В.Н.Татищев, уступая читателю, желающему «легчайшим образом» получить нужные сведения, возможно, в ущерб исторической истине, отправляет этот рукописный вариант в архив и приступает к переработке своего сочинения, переведя его на «новое наречие» и «настоящий гисторический порядок», располагая изложения не «в порядке лет, а в порядке событий»<sup>1</sup>.

Характерно то, что Татищев, занимавшийся историей ради истории и утверждавший, что сочинил свою «Историю» «не для увеселения читающих», и, что он «о сладкоречии и критике не прилежал», тем не менее еще в первой редакции обращает внимание читателя на то, что в его «Истории» окажутся «такие слова, которые давно неупотребляемы быть стали»; и что он будет давать в скопках их новое значение, а затем приобщит в конце «оным алфавитическую роспись»<sup>2</sup>. Кроме того, Татищев снабжает свою «Историю» примечаниями, куда включены его комментарии и «апофегмы».

В результате его ориентации на возможности читателя вторая редакция «Истории», не потеряв «вероятности», в то же время приобрела новые черты «литературного изложения» исторического прошлого»<sup>3</sup>.

Следует напомнить, что книжные предисловия XVII века отличались особой предупредительностью, и книжники снабжали свои сочинения подробнейшими оглавлениями и сжатыми изложениями содержания, чтобы облегчить читателям доступ к ним.

<sup>1</sup>См. об этом подробнее: Валк С.Н. В.Н.Татищев и начало новой русской исторической литературы // XVIII век. М.: Л. 1966. Сб.7. С.68.

<sup>2</sup>История российская. Т. 1У. С.34.

<sup>3</sup>Валк С.Н. Указ.соч. Там же. С.72.

Комплекс предисловий и примечаний к собственноисторическим сочинениям второй половины XVIII века строился историками также с расчетом на широкий круг читателей. Сами собственноисторические сочинения также писались с ориентацией именно на «неискушенного читателя». Важно отметить, что восприятие исторического сочинения читателем — «образованным дилетантом» стало доминирующим в оценках этих сочинений на протяжении всей второй половины XVIII столетия. Можно сказать, что в ориентации на вкусы и запросы читателей русские историографы следовали совету просветителя Гиойма Рейналя: историк должен «уметь снисходить до уровня тех, кто желает быть образованным». Но «снисходить» не означало опускаться до их уровня.

Несмотря на недоступность большинству образованных читателей «летописного» варианта татищевской «Истории», она получила большую известность еще в рукописи.

Как уже было отмечено ранее, татищевскую «летопись» как «начальный свод» брали за основу своих исторических сочинений многие русские историографы «первого и второго поколений». Такая же судьба «начального свода» постигла и «Древнюю российскую вивлиофику» Н.И.Новикова.

Полное название «Вивлиофики» в первом издании отражает цели, поставленные Новиковым в Предисловии к нему, а именно: познакомить читателя — «любителя истории» с историческими документами, собранными в виде «магазина». Как отмечено в заглавии, это издание представляет собой «собрание древних сочинений, яко то: Российския посольства в другия государства, редкия грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей, и многия сочинения древних Российских стихотворцев» (1773). Как видно из названия, издатель конкретизирует и сужает круг материалов, входящих в издание. Кроме того, название подразумевает определенную форму представления материала, называемую, пользуясь терминологией

того времени, «магазином», где были собраны, но не связаны ни хронологически, ни тематически разрозненные исторические документы и сочинения. Так, например, рядом с описанием «брачного сочетания» царя Михаила Федоровича находится информация о введении в строй первого в России «Корабля именуемого Орел»<sup>1</sup>. Эти два текста не были связаны ни хронологически, ни тематически. Древние грамоты не были прокомментированы издателем. — Между историческими документами вставлялись различные стихотворные отрывки и «песны», что напоминало скорее журнал для «удовольствия и пользы». Эти литературные вставки выглядели в тексте как инородные элементы. При всем этом, роль издателя и в названии «Вивлиофики», и в самом издании не была видна.

Название второго издания подразумевало наличие объединяющего начала, что и отразилось в его содержании. Так, основное смысловое значение в названии несет слово «Вивлиофика», которое и оказывается этим объединяющим моментом в издании. В результате чего название обретает уже обобщающий смысл, позволяющий расширить диапазон материалов, используемых в нем, включив, например, не только грамоты и договоры, «содержащие в себе собрания древностей Российских, до истории, географии, и генеологии российские касающихся»<sup>2</sup>. Слово «вивлиофика» раскрывается в сочетании «собрания древностей российских», что предполагало использование в ней как документов, так и собственноисторических сочинений, принадлежащих историкам XVIII века. Кроме того, это название предполагает вмешательство издателя в повествование. Можно допустить, что это название возникло по аналогии с названиями сочинений, относящихся к жанру монументальной истории,

<sup>1</sup>Древняя российская вивлиофика. Спб., 1773.—1775.С.40-52.

<sup>2</sup>Древняя российская вивлиофика. М., 1788.—1794.

где после опорного слова «История Российская» или «Летописец» подразумевалось небольшое пояснение и раскрытие содержания: «Древний летописец, содержащий в себе повесть происшествий бывших в России...» или «Российский царский памятник, содержащий по азбучному порядку историю...».

Второе издание было Новиковым «умножено и приведено в хронологический порядок». Можно сказать, что именно во втором издании «Древней российской вивлиофики» в большей степени проявляется позиция издателя, вставшего на путь историографии. В предисловии ко второму изданию Новиков так представляет свою задачу: «Выпущая в свет второе издание Древней Российской Вивлиофики, надеюсь я доставить любезным соотечественникам моим приятное, а вместе нужное и полезное чтение»<sup>1</sup>. Одной из новаций, которая отличает второе издание от первого, является краткое изложение «простым слогом» каждого из документов, рассчитанное на неискушенных читателей, которые захотят узнать лишь самое необходимое из истории, и не собираются углубляться в изучение архивных сведений. Таким образом, намечается разделение текста «Вивлиофики» на две части: одна — для более углубленного изучения истории «любителями истории», а другая — для тех, кто хочет знать свою историю, не плутая вместе с историографом по ее лабиринтам. Комментарии в этом издании отсутствуют, но издатель, видимо, намеревался снабдить ими следующие издания «Вивлиофики», и поэтому извиняется перед читателями в том, что не мог осуществить этого: «Что же касается до изъяснений некоторых темных и невразумительных мест, равномерных и критических примечаний, то не мог я еще приступить к тому и при сем втором издании»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Там же. Т. 1. С.94.

<sup>2</sup>Там же. С.IX.

Таким образом, Новиков стремится во второй редакции «Древней российской вивлиофики» подать исторический материал читателям в более доступной форме. Предупредительное отношение к читателям, неискушенным в чтении архивных документов, стало определяющим при подготовке второго издания и, возможно, привело бы Новикова и к третьему изданию «Древней российской вивлиофики», в котором форма «магазина» сменилась бы повествованием, основанном на документах и снабженным комментарием уже не Новикова-издателя, а Новикова-историографа. Это всего лишь предположение, а реальность заключается в том, что Новиков, как и Татищев, шел навстречу широкому читателю, хотя и не отступал от «буквы» источника.

Однако, несмотря на все попытки Новикова и Татищева помочь читателю, страстно прорывающемуся к «сладо́сти кни́жные», но не способному всякую «сладо́сть» усвоить, их труды не стали для такого читателя источником «легкого сведения» об истории России. А мы знаем, что восприятие «образованным дилетантом» собственноисторического сочинения было определяющим в становлении этого рода сочинений.

Не вызывает сомнения тот факт, что синкретическое восприятие художественного и научного в историографии XVIII века не позволяло историографам отойти от таких требований классицизма к литературным сочинениям, как «простота и ясность слога». Поэтому современники не могли правильно оценить предпринятую Миллером и Новиковым деятельность в «мобилизации огромного фактического материала»<sup>1</sup>, и заслуги Татищева в том, что тот «собрал материалы и оставил их неприкосновенными, не исказил их своим крайним разумением,

---

<sup>1</sup>Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С.114.

но предложил это свое крайнее разумение подать, в примечаниях, не тронув текста»<sup>1</sup>. Такая оценка труда Татищева С.Соловьевым, безусловно, не могла появиться во второй половине XVIII века, так как тогда принципы литературной эстетики довлели над юной историографией.

В литературном журнале, издаваемом М.М.Херасковым, «Свободные часы» была опубликована анонимная статья «Опыт о историках», где неизвестным автором утверждается, что «сделать Историю полезною зависит от искусства писателей»<sup>2</sup>. Вероятно, это мнение неизвестного автора отражало точку зрения на исторические сочинения самого издателя журнала, автора псевдоисторических романов, М.М.Хераскова. Важно отметить, что это требование к историкам становится определяющим при оценке собственноисторических сочинений на протяжении всей второй половины столетия. Но это не было единственным мнением. Мы должны представлять себе разноголосицу мнений по поводу «новорожденной науки». Причем эти порой диаметрально противоположные мнения на то, каким должно быть собственноисторическое сочинение, принадлежат читателям — «образованным дилетантам», которые формировали свой вкус и требования как под влиянием историографов первого поколения, так и под влиянием главенствующей литературной эстетики. Соответственно, из среды этих читателей выходили как подлинные любители истории — неофиты татищевской школы, так и те, кто тяготел в историографии к «риторической школе» М.В.Ломоносова. Из тех и других происходили, в свою очередь, читатели — критики, которые осуждали противоположные направления: «татищевскую» или «ломоносовскую» школу.

<sup>1</sup>Соловьев С.М. Писатели Русской истории XVIII века... // Архив историко-юридических сведений. М., 1856. Кн.2. С.21.

<sup>2</sup>Свободные часы. 1763. С.25.



А уже в свою очередь из таких читателей, «неудовлетворенных» нынешним состоянием дел в историографии, «получались» писатели-историки. Так, Ф.Эмин в предисловии к «Российской истории» моделирует не только образ своего возможного читателя — «благочестивого», «разумного» «любителя истории», но и образ читателя — критика. Причем, предполагаемые критики могли существовать в представлении писателя только в двух ипостасях: «критик благоразумный» и «критик завистливый». Каждому из них автор, с позиции заинтересованного человека, давал характеристики, заранее разделяя их условно на «положительных» и «отрицательных». Писатель знал, что «ни одно сочинение критических примечаний миновать не может», однако рассчитывал иметь «в друзьях» «критика благоразумного», который «своею критикою» будет исправлять возможные ошибки. Надо сказать, что два обобщенных типа критиков решались сочинителем в традициях литературы XVIII века как отрицательный и положительный персонажи, которые ставились писателем в диаметрально противоположные позиции, после чего все, что бы они ни делали, рассматривалось с этих позиций.

В «Российской истории» Ф.Эмин создает такие «образы» критиков, вероятно, опираясь на свой предыдущий опыт писателя, часто подвергающегося суровой критике.

Подтверждением столь активного процесса «превращения» читателя в критика становится и тот факт, что Татищев после того, как познакомил первых читателей со своей «Историей», подвергся «скорбной участи» и «очутился между двух огней»: «одни из современников его, имевшие понятия о древних и новых исторических трудах, нашли труд Татищева странным по форме; видя в тексте свода один летописный перечень событий, отсутствие красивого рассказа, рассуждений и выводов самого автора, заключил, что последний не имеет философии, что следовательно труд ничтожен. Другие судили совершенно иначе:

для некоторых объяснять летопись, или, что еще хуже, опровергать, казалось дерзостью необычайной»<sup>1</sup>.

Как уже было сказано ранее, Татищев готовил вторую редакцию «Истории», учитывая некоторые критические выпады взыскательного читателя первого типа. Однако это не помогло Татищеву, и его сочинение долгое время рассматривалось как «летописный свод», а его положение в историографии определялось до последнего времени как «последний летописец». Но в то же время его сочинения считались историографическим образцом для последующих «поколений» историков.

Тенденция зависимости писательской позиции от взглядов читателя в собственноисторической литературе совпадает со становлением как самого читателя, так и историографической науки и художественной исторической прозы. Поэтому так важно проследить эту тенденцию, которая проявилась особенно ярко в критических высказываниях историков (или читателей — будущих историков) по отношению к собственноисторическим сочинениям. Так, например, оценка исторического труда Татищева, данная Н.М.Карамзиным в «Пантеоне российских авторов», распадается на оценку будущего историографа Карамзина и на оценку, сделанную Карамзиным-читателем — «образованным дилетантом», стремящимся «легчайшим образом» получить «нужнейшие сведения».

Взгляд Карамзина-писателя, собиравшегося «записаться в историки» на «Историю» Татищева, выглядит следующим образом: «Ревностный любитель отечественной истории употребивший тридцать лет на собрание всего, что до нее касается; но сей трудолюбивый муж, достойный нашего почтения, вместо истории оставил нам только материалы ее и прибавил к летописям свои замечания.

---

<sup>1</sup>Соловьев С.М. Указ.соч. С.36.

В догадках его не всегда находим вероятность, а в соображениях ту ясную простоту, которую любят читатели для своего покоя»<sup>1</sup>.

Следующее мнение о татищевской «Истории» высказано Карамзиным уже с позиции читателя — «образованного дилетанта»: «Он заставляет нас еще работать умом и вместе с ним теряться в хаосе противоречий. Историк должен все обделать в голове своей; ему труд, а нам плоды трудов его. Мы охотно идем за ним во мрак давно прошедших веков, если факел его светит перед нами ясно»<sup>2</sup>. «Мы» — читателей, от имени которых говорит Карамзин и определяет роль и назначение сочинителя в сочинении. Достаточно вспомнить, что еще в конце 50-х годов «любитель истории», сержант кадетского корпуса С.Порошин, а впоследствии известный историк и мемуарист, советует читателям исторических сочинений то, что рекомендует спустя пятьдесят лет Карамзину сочинителю исторического сочинения: «Сравнивайте приключение с приключением, ищите между ними сходство, пространно описанныя сокращайте, умалняйте и старайтесь чтоб оныя всеми таковыми переменами и упражнениями тверже начертать в памяти, и явственные о них иметь понятия. Рассуждая, смотрите причин их и источников... Сие называется читать историю философическими очами»<sup>3</sup>.

С.Порошин высказывался как читатель, «отчужденный» от писателя. Поэтому он игнорировал возможность философического подхода историографа к историческому материалу, который, безусловно, облегчил бы неподготовленному читателю восприятие «российских древностей».

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Пантеон российских авторов // Карамзин Н.М. Избранные сочинения. М.; Л., 1964. Т.2. С.163—164.

<sup>2</sup>Там же. С.164.

<sup>3</sup>Ежемесячные сочинения. 1757. Кн. I. С.134—135.

Примечательно, что этот читательский подход к изучению истории (читать историю «философическими очами») уже в 70-е годы превращается в требование «неискушенного любителя истории» к автору или издателю собственноисторических сочинений.

Важно отметить, что трудности на пути самостоятельного освоения исторического знания привели читателя к осознанию необходимости «вмешательства» сочинителя в историческое повествование. Читатель как бы перекладывает на писателя право первым прочитать историю «философическими очами» и затем уже адаптировать исторический материал для «неискушенного», но «заинтересованного» читателя.

Следует заметить, что именно в области историографии период «отторжения» читателя от писателя сменяется временем исключительной заинтересованности читателя в сочинителе.

Между тем очевидно и то, что элементы читательского подхода к изучению «новорожденной науки» осваиваются самими историографами и издателями исторических документов, которые начинают использовать их в своих предисловиях, примечаниях или рецензиях, как бы опережая возможную читательскую реакцию на свои сочинения.

Так, например, Н.И.Новиков в перерыве между первым и вторым изданиями «Древней российской вивлиофики», выпускает 22 номера «Санкт-Петербургских ученых ведомостей», целью которых, как полагал издатель, было «уведомление о напечатанных книгах с присовокуплением критических оных рассмотрений». 27 января 1777 года в «Санкт-Петербургских ученых ведомостях» была опубликована анонимная рецензия на «Древнюю российскую вивлиофику». П.Н.Берков считал, что автором ее мог быть сам Н.И.Новиков<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.: Л., 1952. С.394.

Если это предположение принять как факт, то перед нами — прекрасный образец рецензии самого издателя, имитирующего читательскую рецензию на «Древнюю российскую вивлиофику». Новиков ставит себя на место читателя, и с этих позиций выдвигает ряд требований: «Впрочем желали бы мы что бы при издании подобных сих Записок, каковыя составляют Древнюю Российскую Вивлиофику, наблюдаемо было следующее: чтобы прилагаемы были, ко всякой части, алфавитныя росписи находящимся в оной части, материям, которыя при книгах сего рода весьма нужны, для приискивания желаемых вещей; чтобы сколько возможно делаемы были примечания на темныя и невразумительныя места и слова; чтобы в летоисчислении всегда прибавляем был год от Р.Х.; что бы древнее правописание не было изменяемо на новое; а наипаче что бы ничего прибавляемо, убавляемо, или поправляемо не было, но печатано было бы точно так, как обретается в подлиннике; и наконец, что бы означаемо было точно, откуда получен список, где находится подлинник, и каким почерком писан, старинным или новым»<sup>1</sup>.

Возможно, что «читатель, от имени которого и выступает в рецензии Новиков, принадлежал к немногочисленной категории читателей, тех, кто «не почувствует худого запаха и гнили» от «тлеющих хартий», и для кого «объяснять летописи» казалось дерзостью необычайною».

Однако, скорее всего, перед нами тип «идеального читателя» — «любителя истории», которого на самом деле еще в России быть не могло, но образ которого, как пример для современников, моделировал Новиков в своих предисловиях к «Древней российской вивлиофике» и «Повествователю древностей Российских».

---

<sup>1</sup> Санкт-петербургские ученые ведомости на 1777 год, изд. Н.Новиковым, переизданное А.Н.Неустроевым. Спб., 1873. №4, 27 января. С.28.

Бросается в глаза и то, что «рецензия» «идеального читателя» — «любителя истории» содержит рекомендации по изданию источников, к которым должен был бы прислушаться и их «идеальный издатель», пекущийся не только о достоверном воспроизведении «исторических древностей», но и о восприятии этих материалов «неискупенным читателем». Именно на такого «неискупенного читателя» рассчитывает Новиков свое краткое изложение содержания второго издания «Древней российской вивлиофики», опубликованное в «Санкт-петербургских ученых ведомостях»<sup>1</sup>.

Анонсируя каждую статью из будущего издания, Новиков продемонстрировал то особое «предупредительное отношение к читателю», которым отличались предисловия книжников в начале XVII века. Так, например, Новиков не просто излагает исторический документ слогом, доступным для широкого читателя, но и постоянно апеллирует к читателям, заранее уверяя их в своем расположении и убеждая проявить благосклонность к будущему изданию. Характерно, что Новиков обращает внимание читателей главным образом на слог статьи или документа.

Обращение к читателю со страниц предисловий становится традиционным для исторических сочинений 60—70-х годов XVIII века, что, безусловно, способствовало сближению читательских и писательских позиций. В этих предисловиях сочинитель чаще всего выступал как «внутритекстовый персонаж», лишенный индивидуальных особенностей самого писателя. Кроме того, читатель, к которому обращался историк за советом и поддержкой, чаще всего не соответствовал

---

<sup>1</sup>Санкт-петербургские ученые ведомости на 1777, изданные Н.И.Новиковым / Переиздание А.Н.Неустроева. Спб., 1873. №4, С.75.

реальному типу образованного читателя, как это было, например, в предисловиях и рецензиях Н.И.Новикова. Можно заметить на примере исторических изданий Новикова характерную для позиции просветителя «отчужденность» от своего «воспитуемого» читателя. Этой «отчужденностью» и крайним рационализмом отмечена и авторская позиция Татищева. Действительно, В.Н.Татищева отличал исключительно сдержанный тон повествования как в самой «Истории», как и в предисловии и комментариях к ней. Хотя именно в этих жанрах, сопутствующих собственноисторическим сочинениям и могла бы проявиться неординарность личности историка, его «живой голос», а не его иллюзия.

Однако предисловие Татищева написано в духе рационалистических идей своего времени, где историк с позиции просветителя указывает причину всех «приключений» и «деяний», которая заключается в наличии ума или в его отсутствии. следовательно, «расчету ума Татищева подчиняет все»<sup>1</sup>. По мнению историка С.Соловьева, это и является основной причиной сухости и жесткости» некоторых приговоров Татищева, помещенных в его примечаниях. И если С.Соловьев видит в «непонимании, в неумении оценить нежного нравственного чувства, которое иногда заставляет человека действовать вопреки расчетам ума» крайний рационализм Татищева, то мы в этом усматриваем позицию писателя — просветителя, который стремится вывести своего читателя на дорогу нравственного познания, но чья личностная позиция еще скрыта от него за абстрактным образом философа-рационалиста, за отвлеченной фигурой историка-прагматика. Индивидуализация авторского «я» была невозможна для Татищева потому, что он следовал летописной традиции и был скован требованиями художественного метода этого жанра.

---

<sup>1</sup>С.М.Соловьев. Там же. С.22.

С другой стороны, в тех случаях, где можно было бы выступить со своих личных позиций и довериться читателю, Татищев оказывается скованным «жанровым образом» писателя-просветителя, который возвышается над своим «воспитуемым» читателем.

Кроме того, Татищев как историк боялся исказить собранные им исторические материалы «своим крайним разумением», поэтому был сдержан и деликатен в свои суждениях. Но, вместе с тем, Татищев совершил «прорыв» к читателю и, можно предположить, что произошло это в период его работы над «Историей российской», когда он обращался к собирателям древностей и просто «любителям истории» за «вспомоществованием» и потом, когда под влиянием требований первых читателей вынужден был переработать «Историю российскую», чтобы она была более доступна широкому кругу читателей, и наконец, Татищев самой своей «Историей» проложил дорогу в историографию тем читателям, кто был не способен к кропотливому исследованию «тлеющих хартий».



Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы.

Сближение «писателя» и «читателя», пришедшее на смену периоду «отчуждения», осуществлялось в рамках собственноисторической литературы во второй половине XVIII века.

Возникновение читателя как «культурно-исторической категории» произошло не в 1780—1800-е годы под влиянием Н.М.Карамзина (Ю.М.Лотман), а задолго до этого, в собственноисторической литературе, благодаря усилиям историков «первого и второго поколения»: В.Н.Татищева, Г.—Ф.Миллера, М.М.Щербатова, Ф.Эмина, И.Ф.Богдановича, И.П.Елагина, А.П.Сумарокова. Создавая «монументальную историю» России первые русские историки «воспитывали себе читателя», пытаясь установить непосредственный контакт с ним, обращаясь за «вспоможением» в собирании исторических источников. В связи с этим можно утверждать, что жанр «монументальной истории» как основной жанр собственноисторической литературы с 50-х годов XVIII века, создавался первыми историографами методом «собирания» и «переписывания» всех попадающих в их распоряжение исторических источников. Такой метод создания монументальных исторических сочинений, а также летописно-анналистическая манера повествования свидетельствуют в пользу того, что «монументальная история» XVIII века создавалась первыми историками и их добровольными помощниками как «летописный свод» нового времени.

Историки «первого поколения» реализовывали в жанре «монументальной истории» идею Петра I о сведении в одно сочинение всех исторических свидетельств об истории России. Пытаясь написать такой труд, первые историографы создавали свои труды в дополнение друг друга, расширяя повествование за счет новых источников и сведений.

Можно утверждать, что В.Н.Татищев, Г.–Ф.Миллер, И.Болтин, М.М.Щербатов писали «историю» России не по «указу», а по «внутреннему убеждению», согласно «обету» подчинить свою жизнь и работу служению «новому общему делу». Личный интерес и тщеславные амбиции исключались из этого подхода к сочинительству.

Историк обращался за содействием к своему читателю посредством обязательного с 50-х годов XVIII века «вступления» или «предисловия» к собственноисторическим сочинениям. В этих предисловиях отношения между «писателем» и «читателем» строились не «по вертикали», как это определялось эстетикой классицизма, а «по горизонтали», где «писатель» обращался к «читателю» на равных. Происходило это потому, что и первые историки, и образованные читатели в занятиях историей находились практически на равных исходных позициях.

«Предисловия» к собственноисторическим сочинениям являются частью летописной традиции, воспринятой на новом уровне историками «первого поколения». В «предисловия» XVIII века вошли элементы «литературного этикета», обязательные для средневекового летописного предисловия: самоуничижительная интонация, рассказ о причине написания, история создания «летописного свода» нового времени, обращение к читателю с просьбой о снисхождении. Использование этих элементов в «предисловиях» к историческим сочинениям XVIII века следует воспринимать и как дань летописной традиции, и как способ, через «жанровый образ» сочинителя, заинтересовать читателей «новым делом» — созданием монументальной истории России. Перед историком в «предисловии» стояли иные задачи, чем перед летописцем, но решались они с помощью устоявшихся летописных клише, приведенных в соответствие с требованиями времени, главенствующей литературной эстетики и задачами, которые стояли перед сочинителем.

Влияние эстетики классицизма сказалось в том числе и на том, что в предисловии образы «писателя» и «читателя» представлены автором как «жанровые образы». Это связано, прежде всего, с властью «жанровой регламентацией стиля» (Д.С.Лихачев) в классицизме. В древнерусской литературе также была сильна власть жанров, и авторское «я» зависело от жанра произведения: «в проповеди — это проповедь, в житии святого — это агиограф»<sup>1</sup>.

До середины XVIII века «писатель» и «читатель» существовали в литературе как жанровые категории. Их соединяла нормативность требований, предъявляемых классицизмом с одной стороны, к автору, а с другой — к читателю, ибо последний должен был бы быть просвещен в «грамматике» классицизма не меньше, чем первый. Таким образом, власть художественного метода сдерживала индивидуализацию авторского художественного сознания и читательского восприятия, что тормозило процесс формирования «писателя» и «читателя» как «культурно-исторических категорий». По нашему мнению, «высвобождение» личностного начала и формирование читателя как «культурно-исторической категории» начинается в том числе и тогда, когда он отзывается на призыв первых историков о «вспомоществовании» в собирании исторических сведений, т.е. когда обращается к изучению национальной истории и приобретает явные признаки «любителя истории».

Можно утверждать, что под влиянием историков «первого поколения» формируются не только читатель, как «культурно-историческая категория», но и историки «второго поколения», которые были вовлечены в процесс «создания» истории первыми историографами.

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения. С.87.

Эти историки–неофиты вышли из среды как рядовых читателей, так и литераторов. Некоторые из них сформировались как историки не только в результате сотрудничества с первыми историками, но и под их непосредственным руководством. Г.–Ф.Миллер и М.М.Щербатов способствовали знакомству А.П.Сумарокова с русской историей. Собиратель анекдотов Якоб Штелин прислушивался к советам М.М.Щербатова, а П.Рычков делал первые шаги в историографии под руководством В.Н.Татищева.

Следует отметить, что после периода «отчуждения» в отношениях читателя и писателя в собственноисторической литературе с конца 60–х годов XVIII века наступает период «потепления», в результате чего историки «первого поколения» не только «воспитывали» себе «читателя», и этот «читатель» сам готов «превратиться» в «писателя», но и на страницах предисловий к историческим сочинениям уже историков «второго поколения» сквозь абстрактный образ читателя — «любителя» истории проступают черты конкретной личности. Это реально существующий «любитель истории», который пошел на диалог с историками. В предисловиях и самих собственноисторических сочинениях историков «второго поколения» разрушается не только «жанровый образ» читателя, но и «жанровый образ» самого историка.

Индивидуализация творческой манеры писателя, наложившаяся на общую тенденцию «раскрепощения личности» в 60–е годы XVIII века, привела и в собственноисторической литературе к стремлению авторов «выйти за рамки летописи», «выдвинуть личную физиономию, собственные взгляды» (А.Г.Тартаковский).

## **Глава вторая**

### **Изменения в характере собственноисторической литературы в 60—80-е годы XVIII века**

Определяющим фактором возрождения духовной жизни России во второй половине XVIII века является отношение русской литературы нового времени к культуре Древней России. В свою очередь, духовное возрождение России было невозможно без нравственного возрождения личности человека, однако, по словам историка С.В.Ешевского, «русское общество первой половины XVIII столетия меньше всего могло похвалиться развитием нравственной стороны личности, мягкостью и человечностью отношений, пониманием и признанием прав человеческого достоинства (...) Лучшие люди первой половины XVIII века развиты преимущественно умом, и притом его практической стороной (...) Самая наука мало смягчала нравы (...) На первом плане повсюду стояла по преимуществу физическая, материальная сторона человеческой природы, в явный ущерб духовному и нравственному развитию»<sup>1</sup>.

Вероятно, одной из причин такого практического, не осложненного нравственными ценностями существования русского человека в период «политических переворотов со смерти Петра I до вступления на престол Екатерины II»<sup>2</sup> является его оторванность от своего прошлого. В первой половине XVIII столетия историческое время в России как бы приобрело новую точку отсчета — начало правления в России Петра I. При этом в историческом сознании «нового человека» возникает отторженность от прошлого России.

Период зарождения и формирования русской государственности все чаще рассматривался как период варварства и ассоциировался с косностью московского боярства.

---

<sup>1</sup>Ешевский С.В. Материалы для истории русского общества XVIII века. // Ешевский С.В. Сочинения. М., 1870. Ч.III. С.435.

<sup>2</sup>Там же.

Однако подобное мнение не провоцировалось ни самим Петром I, ни его сторонниками. По словам Г.Н.Моисеевой, «при всем стремлении к преобразованиям в области политики, науки и культуры и внимания к западноевропейским образцам Петр I далеко не так однозначно, как это принято думать, относился к древнерусской книжности, к памятникам литературы и искусства»<sup>1</sup>. Так, например, в личной библиотеке Петра I в числе книг хранилась и коллекция древнерусских рукописей.

Поворот в историческом сознании общества обозначился во второй половине XVIII века и был во многом связан с формированием национального самосознания. Отмечавшееся в первой главе данной работы возникновение широкого интереса в обществе к древнерусским письменным памятникам в 50—60-е годы XVIII столетия явилось признаком не только возникновения в обществе «чувства истории», но и показателем возрождающейся духовной жизни России, которая была немыслима вне связей с духовным миром древней Руси.

Но не только в развитии русского национального самосознания заложены причины формирования исторического сознания общества.

Можно с уверенностью сказать, что сами древнерусские рукописные памятники литературы, увидевшие свет благодаря деятельности первых историков и издателей, оказали, в свою очередь, воздействие на то, что в обществе с 60-х годов возникает чувство «значительности происходящего» и, в связи с этим, ощущение причастности к событиям, которые очевидцы и современники начали расценивать как исторические.

Именно с 60-х годов в Россию возвращается утерянное «чувство значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории человеческого бытия».

---

<sup>1</sup>Моисеева Г.Н. Указ. соч. С.19.

которое «не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе»<sup>1</sup>.

Важно отметить, что о «возвращении» в 60–е годы «чувства истории» свидетельствует, с одной стороны, расцвет мемуарно–автобиографического жанра, а с другой — развитие собственноисторической литературы<sup>2</sup>. Очевидно и то, что в основе создания первыми историками жанра монументального исторического сочинения также лежит традиция древнерусского летописания<sup>3</sup>. Однако становление как одного, так и другого жанра было сопряжено со стремлением их авторов «выйти за рамки летописи», «выдвинуть личную физиономию, собственные взгляды»<sup>3</sup>.

Следствием этого процесса в мемуаристике является «высвобождение личностно–памятного начала», что, в итоге, способствует ее «жанровому самоопределению». Для жанра монументальной истории стремление «выйти за рамки летописи» также означало уйти от «безличностно–летописной» манеры повествования. «Раскрепощение личности», возрастание личностного начала в русской собственноисторической литературе 60—80–х годов было связано с проникновением в историческое повествование субъективной личностной позиции и эстетических представлений историографа. Следствием этого явилось нарушение принципов исторической достоверности, установленных в историографии историками «первого поколения».

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.109.

<sup>2</sup>Особенностям формирования мемуарно–автобиографического жанра посвящена книга: Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX веков. М., 1991.

<sup>3</sup>Там же. С.42—58.



Развитие «личностного начала» сказывается, по мнению Д.С.Лихачева, «в изменении представлений об авторской собственности»<sup>1</sup>.

Таким образом, можно предположить, что процессы, связанные с влиянием летописания на русскую историографию второй половины XVIII века и, одновременно, освобождением от этого влияния, привели к обособлению научно–исторического и художественного начал в русской историографии, результатом чего явилось выделение из всей массы собственноисторической литературы, появившейся во второй половине XVIII столетия, художественно–исторической прозы.

Рассмотрим подробнее процесс становления жанра «монументальной истории» и определим признаки влияния на него традиций древнерусского летописания.

Интерес к русской истории как к хранильнице поучительных примеров возник еще в первой четверти XVIII века. Однако, исходя из такого утилитарного взгляда на прошлое России, характерного для петровской эпохи, немногочисленные сочинения превратились в сухое изложение фактов, которые должны были убедить общество в полезности проводимых Петром I реформ и общей традиционности подобных «перестроек» для России. Поэтому историографическая работа, начиная с первой четверти XVIII века, сразу стала двигаться по двум направлениям: «по пути создания обширных работ по истории России, доводимых до настоящего времени, и по линии написания современной истории России, точнее истории Петра»<sup>2</sup>. К первому типу трудов исследователь русской историографической науки С.Л.Пештич относит «Ядро Российской истории» А.И.Манкиева и оставшееся в рукописи

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Указ. соч. С.90.

<sup>2</sup>Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч.1. С.83.

произведение Ф.Поликарпова под названием «История о владении российских великих князей вкратце». Ко второму типу историографических работ С.Л.Пештич относит «многочисленные» произведения, посвященные истории Северной войны или царствованию Петра I: «Книга Марсова» (1713); «Журнал государя Петра I» (1715), П.Шафиров «Рассуждение о причинах Северной войны» (1716) и др. Причем, в первом типе исторических сочинений популярной была идея «о преемственности преобразований времен правления Петра с мероприятиями предшествующих царствований, в особенности царствования Алексея Михайловича»<sup>1</sup>. Используя классификацию исторических сочинений нового времени Н.Л.Рубинштейна, попробуем распределить весь корпус собственноисторической литературы нового времени до начала историографической деятельности В.Н.Татищева на два вида: «летописные» и «нелетописные».

Первая группа, по мнению Н.Л.Рубинштейна, «представлена поздними общерусскими летописными сводами, составленными в Москве и Новгороде, или, точнее, произведениями, в основу которых положены общерусские летописные своды летописного периода русской историографии и продолженные до современности»<sup>2</sup>. Скорее всего, первый тип сочинений, по Пештичу, соответствует «летописному» типу сочинений в классификации Рубинштейна, который считает, что эти исторические произведения создавались по «обычаям летописцев», в отличие от «нелетописных», создававшихся «по порядку источников». К последним принадлежат «История» Федора Грибоедова, «Синописис», «История Скифии» Лызлова и некоторые другие.

---

<sup>1</sup>Там же. С.80.

<sup>2</sup>Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С.40.

Отметим, что Н.Л.Рубинштейн называет «нелетописные» произведения — «самостоятельными историческими опытами»<sup>1</sup>. Нужно сказать, что если «летописные» исторические сочинения противопоставляются исследователем «нелетописным», так как в основу их создания ложатся различные методы, то можно предположить, что «самостоятельные» «нелетописные» произведения противостоят «несамостоятельным» «летописным». В этой связи возникает вопрос: почему «летописные» сочинения XVIII века являются «несамостоятельными»? Если предположить, что русская историография XVIII века у своих истоков использовала методы создания древнерусской летописи, то тогда следует остановиться подробнее на особенностях древнерусского летописания.

Д.С.Лихачев, размышляя над судьбой древней русской литературы, отмечал следующие ее отличительные признаки: «Древняя русская литература ближе к фольклору, чем к индивидуализированному творчеству писателей нового времени... Это было искусство, создававшееся путем накопления коллективного опыта и производящее огромное впечатление мудростью традиций и единством всей — в основном безымянной — письменности. ... Все произведения могут быть поставлены в один ряд друг с другом в порядке совершающихся событий: мы всегда знаем, к какому историческому времени они отнесены авторами...»<sup>2</sup>.

Компилятивный характер древнерусской литературы отразился, как в зеркале, в русском летописании. О методе создания летописи Д.С.Лихачев пишет следующее: «Произведения по русской истории пишутся вскоре после того, как события совершились, — очевидцами по памяти или по

---

<sup>1</sup>Там же. С.40.

<sup>2</sup>Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.108—111.

свидетельству тех, кто видел описываемые события. В дальнейшем новые произведения о событиях прошлого — это только комбинации, своды предшествующего материала, новые обработки старого. Таковы в основном русские летописи. Летописи — это не только записи о том, что произошло в годовом порядке; это в какой-то мере и своды тех произведений литературы, которые оказывались под рукой у летописца и содержали исторические сведения». Исследователь отмечает многожанровый характер летописи: «В летописи вводились исторические повести, жития святых, различные документы, послания. Произведения постоянно включались в циклы и своды произведений. И это включение не случайно. Каждое произведение воспринималось как часть чего-то большего. Для древнерусского читателя композиция целого была самым важным. Если в отдельных своих частях произведение повторяло уже известное из других произведений, совпадало с ним по тексту, это никого не смущало»<sup>1</sup>.

Принципы конструирования летописи, названные Д.С.Лихачевым, на наш взгляд, отразились в русской историографии второй половины XVIII века. Именно с этого периода русские исторические сочинения создавались историками «первого поколения» как классические летописные своды, представляющие собой огромные анналистические повествования, основанные как на древнерусских летописях, так и на собственноисторических сочинениях XVIII века, воспринятых как летописные источники.

Влияние летописи на культурное сознание образованной части общества в XVIII веке было чрезвычайно велико. В среде старообрядцев сохранилась традиция переписывания памятников древнерусской письменности. Переписывались и расходились во множестве списков дошедшие до нас рукописные сборники с

---

<sup>1</sup>Там же. С.111—112.

владельческими пометами и иными маргиналиями, памятники церковного и светского содержания — жития, псалтыри, хронографы, хождения, Синописис, Степенная книга и т.д. Характерно, что переписчики исторических рукописей в XVIII веке в предисловии к ним подчеркивали, что «издавали» их «в общую пользу всех историолюбителей», «в пользу любящих историю». Исходя из этой непрерывающейся традиции «переписывания» и «хождения» в обществе «списков», можно предположить, что практика издания памятников средневековой письменности, в том числе летописей, нашла в среде образованных читателей понимание и поддержку. Известно, что с 60-х годов XVIII столетия в изданиях источников преваляровала летопись и ее переработки. М.В.Ломоносов явился инициатором первого издания русской летописи (1767), в основу которой был положен Радзивилловский список. Были опубликованы Никоновская летопись (1767—1791), Царственная книга (1769), Летопись о многих мятежах (1773), Степенная книга (1775), летописи Типографская (1784), Львовская (1791), Новгородская 1 по Синодальному и Академическому спискам (1781, 1786) и другие.

Летописные свидетельства входили также в известные «Миллеровы портфели», частные коллекции, в издание «Древней российской вивлиофики» Н.И.Новикова.

Летопись в 60-е годы XVIII века позволила совместить в исторических взглядах общества представления о «значительности происходящего» с ощущениями непрерывности исторического существования человека в его связях с прошлым и будущим.

В.Н.Татищев, Г.-Ф.Миллер, М.В.Ломоносов и Н.И.Новиков в своих сочинениях и изданиях летописного наследия продемонстрировали читателям трепетное отношение к летописному слову, уважение и доверие к летописцу. Но первые историки были и первыми просветителями (в широком смысле этого слова), поэтому им было необходимо донести это свое

отношение к летописи как к авторитетному источнику до своих современников. Вместе с тем, современникам Татищева и Новикова идеологические или литературные авторитеты летописцев XIII—XVII веков были абсолютно чужды. Более того, известно скептическое отношение к летописному наследию Древней Руси, появившееся в среде читателей — «образованных дилетантов» и историков второго поколения (Ф.Эмин, И.Елагин). Поэтому, когда Татищев взялся «переписывать» Нестора, а Миллер — Татищева и Нестора, то оба взяли на себя ответственность за каждое слово, сказанное в летописи. Таким образом, читатели-скептики получили новые ориентиры в восприятии «летописного слова» уже через сочинение летописцев нового времени. Ориентиры эти должны были быть закреплены в сознании читателя авторитетом историографа, соответствующим требованиям времени.

Однако реальное положение писателя-просветителя в России, как правило, не соответствовало той роли, которую отводила писателям главенствующая эстетика и просветительская идеология. Между тем, историкам «первого поколения», чтобы заново приобрести авторитет у своей читательской аудитории, потребовалось не только преодолеть жанровые ограничения, распространенные на образ сочинителя классицизмом, но и рассеять недоверие современников к летописной традиции.

Известно, что к концу XVII века летописец теряет авторитет у своего читателя. Доверие, которое испытывал читатель Древней Руси к летописцу, складывалось на протяжении семи веков и было подкреплено церковным авторитетом. Незыблемость веры грамотного народа в «слово» заменяло летописцу необходимость подкреплять сказанное еще и личным авторитетом. Однако существование в русском летописании с XI века автобиографического предисловия свидетельствует о том, что имя летописца современники связывали с важными для них его политическими ориентациями. Другими словами, летописец в

средние века являлся не только духовным наставником, но и идеологическим авторитетом для современников. В XVIII веке для историков первого поколения летописное слово становится гарантом исторической истины.

Выделяя летописный период в истории русской историографии XVIII века, исследователи обращают внимание исключительно на то, что многие историки брали за основу своих сочинений летописи или летописные своды XIII—XVII века, соблюдая при этом хронологический порядок изложения событий и особую летописную манеру повествования. Однако, на наш взгляд, летописный период русской историографии XVIII века отличает также метод создания исторического произведения, характерный как для древнерусской литературы в целом, так и для летописания, который состоял в том, что исторические сочинения замешивались историками «первого и второго поколения» как часть целого — монументального исторического труда по истории России, и поэтому оно не могло существовать вне связи с другими историческими сочинениями, написанными в течение XVIII века и воспринимающимися их авторами и читателями как летописные своды нового времени.

Можно предположить, что подобный подход к историческому сочинению как к историческому источнику, наподобие летописи, имеющему «самостоятельное существование» и не являющемуся «авторской собственностью», как, например, произведения художественной литературы, был установлен В.Н.Татищевым в отношении своего исторического труда — «Истории российской». Подобно летописцу, В.Н.Татищев «не относился к своему труду как к некоей собственности. Он приглашал вносить в него дополнения и поправки. История представлялась В.Н.Татищеву единственно возможным объективным отражением реальной цепи событий и фактов, а потому не имело особого значения, сам ли он вносил поправки в свой труд, или

«... что делал кто-то другой»<sup>1</sup>.

Другими словами, историческое сочинение после его «завершения» одним автором приобретало «независимость» от своего создателя, и могло существовать в дальнейшем, подобно самой истории, не зависящей от воли историка или летописца, «отражая реальную цепь событий и фактов», в ожидании следующего своего летописца<sup>2</sup>. Поэтому Татищев в «Предъизвещении» к «Истории – российской» приглашал читателей вносить дополнения и поправки, осваивать все новые исторические пространства и явления. По мнению историка С.М.Соловьева, Татищев «начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после названия России, одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заняться Русскою историей»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Кузьмин А.Г. Был ли В.Н.Татищев историком? // РЛ. 1971. №1. С.60.

<sup>2</sup> Д.С.Лихачев, отмечая компилятивный характер русской летописи, обращает внимание на то, что «окончание летописи все время как бы отодвигалось, продолжаясь дополнительными записями о новых событиях (летопись росла вместе с историей). Отдельные готовые статьи летописи могли дополняться новыми сведениями из других летописей; в них могли включаться новые произведения». Пит. по соч.: Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.113.

<sup>3</sup> Соловьев С.М. Писатели русской истории XVIII века... // Архив историко-юридических сведений... /изд. Н.Колдачевым. М., 1855. Кн.2 (1-я половина). III отд. С.35. (Выделено мной — Д.Н.)



Достаточно вспомнить, что Татищев своей «Историей» «указал путь» таким историкам первого и второго поколения, как Ломоносов, А.Шлецер, М.М.Шербагов, Ф.Эмлин, И.Елагин.

Мнение о том, что Татищев является продолжателем летописной традиции сложилось сразу после написания им первой редакции «Истории российской», где историк попытался следовать «летописному порядку» изложения событий и «древнему наречию». Несмотря на то, что во второй редакции Татищев стремился отойти от летописи в сторону «современного исторического порядка», однако его история продолжала восприниматься современниками и последующими поколениями «любителей истории» как летописный свод.

Исследователь исторического наследия В.Н.Татищева С.Н.Валк, хотя полностью и не разделяет распространенного в исторической науке мнения о том, что Татищев был «своего рода завершителем летописного периода истории нашей историографии»<sup>1</sup>, однако и не отрицает того, что в «Истории» Татищева новыми были мотивы следования летописному типу изложения»<sup>2</sup>.

На наш взгляд, татищевское отношение к своему сочинению как к самой истории, имеющей возможность «независимого существования» от своего создателя, а также отношение к историческому сочинению нового времени как к «летописному своду» со стороны других историков «первого и второго поколения», которые часто «переписывали Татищева», подтверждает мысль о возвращении первых русских историографов к методу создания русской летописи.

<sup>1</sup>Валк С.Н. В.Н.Татищев и начало новой русской исторической литературы // XVIII век. М.: Л., 1966. Сб.7. С.70.

<sup>2</sup>Там же. С.70.

Известно, что татищевскую «Историю» как достоверный исторический источник использовали в своих работах Г.-Ф. Миллер, М.В. Ломоносов, А. Шлецер, М.М. Щербатов, Ф. Эмин, И. Елагин, Н.М. Карамзин и многие другие известные и малоизвестные историки первого, второго и третьего «поколения» историографов.

На наш взгляд, татищевская «История» в русской историографии XVIII века являлась «начальным сводом» нового времени, на который некритично ссылались историки последующих поколений. Приведем один пример. Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского», повествуя о походе князя Святослава в Болгарию, отсылает читателя к комментарию, где разоблачает Татищева, рассказавшего «целую историю, которой нет в летописи». Нас в данном случае не интересует содержание этой вымышленной истории о «воеводе, именем Волк». Важно разыскать в след за Карамзиным следы этой «сказки» в последующих исторических сочинениях. Итак, Карамзин в комментариях, опровергая «догадку» Татищева, задается вопросом: «Болтин удивился, что М. Щербатов не знал повести о хитром Волке; но для чего же сам Болтин не отыскивал ее в летописях, а только ссылается на Татищева?»<sup>1</sup>

Следы «сказки о Волке», появившиеся у Татищева, Карамзин находит в «Опыт» Елагина: «Догадка, что Святославу надлежало в Переяславце оставить гарнизон или засаду, как говорили в старину, была причиною сего вымысла, раскрашенного Елагиным»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1988. Ком. к Т.1. Гл. У11. С.398.

<sup>2</sup>Там же.

Не удивительно, что Елагин воспользовался и этим «любопытным эпизодом», чтобы в очередной раз «отличиться» и снабдить явную «басню» новыми подробностями. Любопытно другое. И.Болтин, оказавший большое влияние на становление исторической науки в России, последовательно выступая против беллетризации истории, поверил татищевскому «слову» как мог бы поверить «слову» Нестора.

Признавая в Татищеве последователя летописной традиции, мы, вместе с тем, должны учитывать специфику новаторского подхода Татищева к летописному изложению, а также то, что летопись — «жанр изменяющийся», так как он отражал потребности русской жизни<sup>1</sup>. Кроме того, о Татищеве нельзя говорить и как о «последнем летописце» русской истории, так как он не просто возвратил и продолжил летописную традицию, он явился в русской историографии законодателем нового подхода к жанру монументального исторического сочинения как к летописи.

Если можно предположить, что благодаря Татищеву русская историография во второй половине XVIII века развивалась в русле русского летописания, то Н.М.Карамзин действительно явился «последним летописцем» (А.С.Пушкин) в ряду историографов XVIII века, которые в той или иной степени придерживались метода сознания «порядка», манеры изложения и композиции летописи.

Примечательно, что важную роль в «перешивании» и «пополнении» труда своего предшественника сыграл Г.—Ф.Миллер, который недобросовестно (с точки зрения современной историографии, но не летописной традиции) отнесся к труду В.Н.Татищева. Так, в своем «Опыте новейшей истории о России» Миллер следовал за татищевской

---

<sup>1</sup> Дихачев, Д.С. Русские летописи. М.: Л., 1947. С.8.

«Историей», не сославшись на нее при перечислении использованных им в сочинении источников и пособий по русской истории. Из собственноисторических сочинений Миллер назвал только «Ядро Российской истории» А.Манкиева. Так, историк создает прецедент использования татищевской истории в качестве источника. Это свидетельствует о том, что Миллер, так же как и Татищев, не относился к собственноисторическому сочинению как к авторской собственности. Об этом свидетельствует и подход Миллера к переизданию труда А.Манкиева «Ядро Российской истории». Так, в своем предисловии к первому изданию этого сочинения Миллер, в целях привлечения к сотрудничеству читателей — «любителей истории», считает, что «сия книга, для множества охотников на оную, в недолгом времени требовать будет нового издания»<sup>1</sup>, которое, по мнению историка, может быть пополнено новыми фактами и выйдет с изменениями, внесенными при содействии читателей. Далее, говоря о возможности нового издания, Миллер, не считаясь с авторским правом Манкиева, советуется с читателями по следующим вопросам: «Надлежит ли тогда и слог старинный переменить на нынешний, дополнить ли являющиеся в некоторые места по Истории недостатки и прибавить ли до нынешнего времени, или, по крайней мере, по кончину Петра Великого продолжение? Оное оставляется дальнейшему рассуждению. Многие, может быть, скажут, что оставить должно сочинение Князя Хилкова, каково оно есть, и сие не будет препятствовать другим сообщать свету таковые же о Российской Истории краткия или пополнительныя сочинения»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Манкиев А. Ядро Российской истории. Спб., 1784. С.80б.

<sup>2</sup>Там же. Первоначально авторство «Ядра...» приписывалось русскому дипломату князю А.Хилкову.

Говоря о слоге исторического сочинения, историограф в данном случае имеет в виду слог повествователя начала века, уже несколько затрудненный для читателя 70-х годов XVIII века.

Другими словами, Миллер, не придерживаясь буквы «оригинала», выступает, скорее, как «перепищик» труда своего предшественника. Можно предположить, что над Миллером довел современный ему читатель со своими вкусами и особенностями восприятия. Однако известно, что Миллер часто вольно обращался с уже существующими собственноисторическими работами как российских, так и иностранных историографов, «пополняя» эти сочинения новыми материалами. А другой историк, «талантливый Болтин указал ошибки Шербатова, и таким образом дал русским читателям необходимое дополнение к книге последнего»<sup>1</sup>.

Эти факты можно объяснить стремлением историка создать обобщающий труд по истории России, в котором бы сочетались исторические документы, современные исторические исследования, написанные историками, и результаты любительских разысканий, не противоречащие исторической достоверности. Безусловно, что такой подход к историческим сочинениям как к источникам, постоянно требующим дополнений, придал историографической науке динамичность.

Таким образом, мы можем отметить важную тенденцию: и Миллер, и Болтин расценивают исторический труд своего предшественника не как авторскую собственность, а смотрят на него как на любой другой исторический источник, являющийся лишь кусочком смальты в мозаичном полотне под названием Российская история, собрать которые выпало им.

---

<sup>1</sup>Соловьев С.М. Указ. соч. С.74.

Достаточно вспомнить, что подобная позиция отличала и древнерусского летописца, чья задача состояла в том, чтобы, исправив и дополнив новыми сведениями, переписать летопись предшественника, чтобы в таком виде, лишив готовый летописный труд своей авторской опеки, оставить его последующим летописцам для разработки и развития. Таким образом, каждый последующий летописец лишь дополнял глобальный летописный свод под названием История Руси, не относясь к своему труду, равно как и к труду других летописцев как к авторской собственности.

Историк второго поколения И.П.Елагин, которого историк С.М.Соловьев относит к представителям «риторической школы»<sup>1</sup> в русской историографии, не столько «переписывал» Татищева, сколько замещал свой исторический труд «Опыт повествования о России» как продолжение «Истории Российской» Татищева и потому начал свое повествование с Ивана III (1462), то есть с того времени, до которого не добрался в «Истории российской» В.Н.Татищев. А другой историк второго поколения Ф.Эмин, также один из представителей «риторического направления» в историографии, основываясь в своей «Российской истории» на трудах М.В.Ломоносова и В.Н.Татищева и других историков, тем не менее выражает в предисловии распространенное тогда мнение о татищевской истории: «Прежде всех попалась мне в руки История Тайного Советника Татищева, или, лучше сказать, к оной предисловие; ибо история им писанная тоже, что и Нестора, разве несколько из оной потребных вещей пропущено»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Соловьев С.М. Указ. соч. С.74.

<sup>2</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1767. Предисловие. С.ХII.

Обращает на себя внимание тот факт, что восприятие Эминьм «Истории российской» расчленяется на восприятие «предъизвещения» Татищева и на восприятие самого сочинения, как «выбранного из одного Нестора...». Вместе с тем, Эмин считает Нестора одним из самых «беспристрастных» и «точных» наших летописцев, но все-таки следует в своей «Российской истории» за М.В.Ломоносовым, так как, по его мнению, каждый волен прилепляться к такому автору, который ему нравится<sup>1</sup>. Далее Эмин утверждает, что Ломоносов отворил ему «путь к поправлению своей истории к дополнению и к продолжению оных»: «Я собрав несколько книг, как рукописных, так и печатных разных Польских, Литовских, Татарских и иных Летописцев которых, не зная оных земель языков г.Ломоносов или их иметь или оными пользоваться не мог, справедливую приемлю смелость описанныя им действия вновь с прибавлением описывать, а для пользы отечественной оныя предать печати»<sup>2</sup>.

Ф.Эмин не хотел повторять Нестора или «прилепляться» к Никону, считая его летопись баснословной, но «записавшись в историки», писатель должен был продолжить или дополнить труд одного из авторитетных историков своего времени. Для Ф.Эмина таким историком стал М.В.Ломоносов, для И.П.Елагина — В.Н.Татищев, для И.Ф.Богдановича — М.М.Щербатов.

Процесс, в результате которого в русской историографии во второй половине XVIII века утверждается летописный метод «переписывания» и «пополнения» при создании собственноисторических сочинений, связан, прежде всего, с отношением историографов «первого поколения» к своему труду, не как к авторской собственности, а как к тексту, «открытому» для дополнения при переписывании историками «второго и третьего поколения».

---

<sup>1</sup>Там же. С.XVII.

<sup>2</sup>Там же. Ч.I. С.5. (Выделено мной. — Д.Н.)

При таком отношении естественным кажется и то, что личность автора, его индивидуальная манера оказались скрытыми за безличностным «жанровым образом» летописца.

Известно, что в древнерусской литературе «личностное начало было слабее развито, чем в новой». Д.С.Лихачев рассматривает причины такой «неразвитости» личностного начала в древнерусской литературе: «С одной стороны, постоянные последующие в древней русской литературе переделки произведения, не считавшиеся с авторской волей и уничтожавшие индивидуальные особенности авторской манеры. С другой же стороны, авторы средневековья и сами гораздо менее стремились к самовыявлению, чем авторы нового времени»<sup>1</sup>. Среди причин Д.С.Лихачев называет «господствование художественного метода, присущего тому или иному жанру». В первой главе данной работы нами была совершена попытка рассмотреть особенности «жанровой регламентации» образа автора, типичные как для древнерусской литературы, так и для собственноисторической литературы нового времени.

Итак, как уже было сказано, в древнерусской литературе «личностное начало было развито слабо», так как произведения древнерусской литературы «компилятивны и не всегда имеют имя автора»<sup>2</sup>. В таком случае «имя автора подменяется именем составителя, редактора, переписчика на совершенно равных основаниях»<sup>3</sup>. Несмотря на то, что «чувство авторской собственности с трудом пробивается до XVII в. и только в XVIII в. получает первую более или менее прочную основу.

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.86.

<sup>2</sup>Там же. С.90.

<sup>3</sup>Там же.



Однако и в классицизме, в журналистике XVIII в. оно совсем иное, чем в XIX в.»<sup>1</sup>.

«Недостаточность чувства авторской собственности» Г.А.Гуковский связал с общей «неразвитостью индивидуального стиля и в классицизме»<sup>2</sup>: «Случалось, что редактор, издавая старый текст, считал нужным исправить его согласно художественным требованиям новейшей эпохи или своим литературным вкусам; при этом, имея в виду приумножить красоты издаваемого текста, скрыть недостатки его, он хотел, конечно, лишь уберечь или распространить славу своего автора»<sup>3</sup>.

Исходя из этих принципов, можно предположить, что русская историография у своих истоков следовала в отношении к авторству традициям древнерусской литературы, нивелирующей признаки авторской индивидуальности. В.Н.Татищев выбрал тот метод в своем историографическом творчестве, который указали ему летописные источники, но, вместе с тем, «вписался» в общее состояние «неразвитости «личностного начала» в литературе классицизма».

Г.-Ф.Мишлеру в своем отношении к собственноисторическим сочинениям В.Н.Татищева и А.Манкиева, скорее всего, было присуще характерное для классицизма стремление редактора или издателя «исправлять старый текст», приспособлявая его к эстетическим требованиям своей эпохи, но, в свою очередь, высокая идея создания монументального сочинения, соответствующего представлениям академического историографа об исторической достоверности, не позволяя ему самовыявляться, принуждала скрываться за «жанровый образ» историка.

<sup>1</sup>Там же. С.90.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Гуковский Г.А. К вопросу о русском классицизме // Поэтика. Л., 1928. <Т> IV. С.146.

Историки «второго поколения» использовали в заглавиях своих исторических сочинений слово «летопись», хотя часто эти работы ни по форме, ни по объему, ни по манерам повествования не напоминали летопись. При этом некоторые из них именовали себя летописцами, порой не испытывая уважения и доверия к авторитетному слову летописца, используя это название наряду с другими: «художник», «живописец», «сатирик», «историк».

Возможность свободного «перемещения» человека XVIII века в границах различных «жанровых образов» или «амплуа», отмеченная Ю.М.Лотманом<sup>1</sup>, сказала и на том, что некоторые читатели, легко сменив «амплуа» «любителя истории» на «амплуа» историографа, пошли еще дальше и примерили на себя «летописные одежды». Достаточно вспомнить, что в числе исторических сочинений А.П.Сумарокова находится «Краткая московская летопись» (1774). Н.И.Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях», характеризуя историографическую деятельность Петра Крекшина, отмечает, что «человек любопытный и тщательный в собрании Российских древностей и редкостей» «сочинил три летописи»: 1) «от начала царствования Царя Иоанна Васильевича с 1534 по 1560 г. 2) История о Царе Борисе Федоровиче Годунове по 1600 год; 3) История Великой Княгини Ольги, во святым крещении нареченная Елены»<sup>2</sup>. Характерно, что Новиков отличает «летописи» Крекшина от других его «книг» на историческую тему.

---

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. // Труды по знаковым системам. Тарту, 1977. Вып. VIII. С.65—89.

<sup>2</sup>Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Спб., 1772. С.98.

В уже приведенной нами ранее эпитафии В.Рубана на безызвестного историка Никиту Иванова упоминается, что он «летопись свою до поздних лет довел».

Обращает на себя внимание тот факт, что историографы «первого поколения» не называли себя «летописцами», а свои сочинения «летописью». Более того, современная им критика часто рассматривала близость исторического сочинения к летописным источникам как «недостаток». Собственно говоря, создавая свои обобщающие исторические труды по методу летописания, историки «первого поколения» не задумывались над тем, как им следует называться — «историографами» или «летописцами». Уважение к летописному слову не позволяло им посягать на это звание.

С.М.Соловьев отмечал, что в то время, когда первые историки оказали «важную услугу, познакомяв русских впервые с историей позднейших времен, начиная с Иоанна III-го», «риторическое направление продолжалось и достигло самых неприятных крайностей в сочинениях Эмина и Елагина». Какие же «неприятные крайности» имел в виду историк Соловьев? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Можно с уверенностью сказать, что синкретизм художественного и научно-познавательного с углублением в сторону первого проявится главным образом в исторических сочинениях Ф.Эмина и И.П.Елагина. В числе мотивов обращения к исторической теме можно назвать и их желание удовлетворить свои творческие амбиции на «модном» материале. При этом писатели считали своим долгом подвергнуть критике исторические труды своих предшественников, пытаясь таким образом завоевать авторитет у новой читательской аудитории. Но, несмотря на существование такой критики в адрес В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова, М.М.Щербатова, на страницах предисловий и примечаний историкам «второго поколения» приходилось использовать труды критикуемых ими историографических авторитетов в качестве «начальных сводов» в своих исторических сочинениях. Однако,

зарабатывая себе авторитет на отрицании и критике, сочинитель имел в виду именно «неискушенного» читателя, который скорее всего не читал трудов Ломоносова и Татищева, а в сочинении Эмина, облегченном и упрощенном «списке» их трудов, мог легко найти занимательные сюжеты и трогательные истории.

Историки «второго поколения» часто не имели навыков в собирании и изучении самих «тлеющих хартий», но уверяемые историками «первого поколения» в том, что у них равные исходные позиции, возможности и способности для овладения «новым делом», решали использовать в своих сочинениях исторические материалы уже собранные, изученные и составившие основу повествования исторических сочинений первых историографов. Однако, среди источников могла «случайно» оказаться «новейшая летопись» или «перевод» татарского или литовского документа, ранее никому неизвестного. С.М.Соловьев упрекал А.Ф.Эмина в том, что «он берет Бог знает какие источники, Бог знает какие списки летописей, и начинает витийствовать, сочиняя факты и речи действующих лиц, не имея никаких средств для достижения своей цели, то есть для украшения рассказа»<sup>1</sup>.

Из Предисловия Эмина к своей «Российской истории» мы узнаем, что писатель склонен, так же как и Татищев «выбрать» из Нестора и Никона, но при этом критерием отбора источников для историка «второго поколения» Ф.Эмина становятся его субъективные представления об исторической правде, «баснословии», красноречии: «Что до темной Древности касается то я последую лучшим древним авторам, **связываю из оных мое** о Древности России повествование, большинство голосов для **меня** не важно. Я последую тому, который сходнее с правдою пишет. Может статься, что и **мое описание Древности**

---

<sup>1</sup>Соловьев С.М. Указ.соч. С.74.

многим покажется сомнительным, каждый волен прилепляться к такому Автору, который ему нравится»<sup>1</sup>.

Как видно из отрывка, Эмин, мотивируя свою приверженность к древним источникам, одновременно демонстрирует и метод, которого придерживался в процессе работы над «Российской историей»: «Сначала писатель следовал «лучшим древним авторам», то есть «прилеплялся к тем авторам, которые ему нравились», а потом «связывал из оных свое повествование». Другими словами, Эмин действовал как летописец нового времени. Интересно, что сочинитель, критикуя «Никонов список» («нет столько забобонов, сколько в оном списке»), тем не менее признается читателям в том, что пользуется им только потому, что «в нем много есть **списанного** из Нестора»<sup>2</sup>. Летописный метод «переписывания» сказался и на характере творческого подхода Эмина к источникам. Возможно, что сочинитель «переписывал» «несторову летопись» с ее «татищевского списка», позволяя себе при этом «исправлять» и «дополнять» источник, безусловно, сообразуясь со своим творческим опытом и потакая вкусам «неискушенного» читателя. Иначе говоря, для Эмина-писателя не пришло еще время подлинного уважения и доверия к летописному свидетельству.

Вместе с тем, для Эмина-историка-неофита «жанровый образ» самого летописца явился настолько притягательным, что он воспользовался им, чтобы определить свое новое «амплуа» и отмежеваться от цеха историков и писателей.

Так, например, Эмин в Предисловии к «Российской истории» именуется летописцем в следующих ситуациях.

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1764. Кн. I. Предисловие. С. XVII. (Выделено мной — Д.Н.)

<sup>2</sup>Там же. С. XVII. (Выделено мной — Д.Н.)

В одном случае это происходит тогда, когда Эмин несколько «отступает» от изложения русской истории и перенесясь в Древний Рим, пускается в рассуждения о нравах древних героев. Сопоставляя нравы древних римлян с нравами русских героев, писатель делает выбор в пользу последних: «Но того я ни в одной нашей летописи не читал, что бы сын посягнул руку на отца своего и лишил его жизни ... Сей Римскобожественный Брутус одним своим именем меня ужасает, когда вспомню, что он пронзил кинжалом грудь ему жизнь даровавшего. Но что бы вместо летописца не прослыть Сатириком, все такие случаи оставляю на рассуждение тех, кои искусны в общей истории, имеют довольно понятие о своей собственной»<sup>1</sup>. Другими словами, по мнению писателя, если исторический факт выводит сочинителя на общие рассуждения о слабостях и пороках исторических личностей, то это уже относится к сфере нравоописания, а не летописания. Причем в этом случае «писатель» («сатирик») приравнивался Эминым к историку.

В другом случае Эмин примеряет на себя кождежды летописца когда размышляет над проблемой, которая должна была волновать Эмина-писателя: включать или не включать в историческое сочинение такие «древния обыкновения которыя ныне ушам человеческим противны»: «Но не должен ли летописец в писании своем скромность в высочайшей наблюдать степени? Ежели так, то как ему описывать просвещенному разуму гнусные действия?»<sup>2</sup>.

Таким образом, «скромность» летописца, по мнению Эмина, должна была сочетаться как с позицией историка, который передает читателю все то, что «заподлинно через предания великих и достоверных людей» известно, так и с задачей

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1767. Кн. I. С. 15.  
(Выделено мной — Д.Н.)

<sup>2</sup>Там же. Кн. I. С. 18.

писателя, осуществляющего эстетический «отбор» малопривлекательного для «просвещенного читателя» исторического материала. Может показаться несовместимым такое сочетание «скромной позиции летописца», отражающего в том числе и «гнусные действия» своего времени с подходом просвещенного писателя второй половины XVIII века, который ориентировался прежде всего на вкус и эстетические воззрения читателей. Вместе с тем, на наш взгляд, такое совмещение «несовместимых требований» к историческому сочинению является показательным для собственноисторических сочинений 60—70-х годов XVIII века. Подобное представление о приятном и вместе с тем правдивом изложении исторических событий во имя «пользы» и «удовольствия» читателей формировалось еще в сочинениях Татищева и Миллера под влиянием читателей — «образованных дилетантов», воспитанных на классических образцах литературы. Однако только в исторических сочинениях таких историков «второго поколения», вышедших из среды писателей, как Ф.Эмин, А.П.Сумароков, И.П.Елагин, И.Ф.Богданович, была совершена попытка совместить летописный метод создания исторического сочинения с требованиями, предъявляемыми к литературному сочинению главенствующей эстетикой.

Вместе с тем, писатели, «записавшиеся в историки», пытались прослыть то «новыми летописцами, то историками, «не хуже Татищева или Ломоносова», но продолжали существовать в границах привычного для них «амплуа» художника.

Надо сказать, что сквозь позицию летописцев «нового времени», с их искренним стремлением «прилепиться» только к достоверным источникам (как к древним, так и к новым) и проявить при «переписывании» летописную «скромность», пробиваются ростки авторского индивидуализма. Так, например, если Татищев или Миллер не относились к своим сочинениям как к авторской собственности и не использовали в отношении своего исторического труда сочетания «моя история», то

историки второго поколения постоянно употребляли в отношении своих сочинений местоимение «мое»<sup>1</sup>.

Следует отметить, что стремление выйти «за рамки летописи», проявив свои авторские особенности, отличало историографическое творчество историков «второго поколения», вышедших из писательской среды (Ф.Эмин, А.Сумароков, И.Богданович, И.Елагин). Желание «самовыявиться», не страшась при этом нарушить жанровую, стилевую регламентацию, появилось у писателей. «записавшихся в историографы», тогда, когда до них была уже создана историографическая база, на которую можно было опереться и от которой можно было оттолкнуться, чтобы «инако», чем у Нестора и Татищева, написать «свою» Историю России. Писатели, обратившиеся к историческому материалу, безусловно, понимали, что повторять «летописные известия» и располагать события по «обычаю летописцев» — это еще не означало написать «свою» летопись. Ранее мы уже отмечали, что двигателем историографической деятельности историков «второго поколения» становится, как правило, не желание обрести российскую историю для общего блага, а тщеславное стремление рядовых читателей «легчайшим образом» примкнуть к писательскому сословию, а писателей — обойти своих товарищей по цеху. Но для того, чтобы «стать «классиком жанра», надо было «превзойти своих товарищей по жанру, а для того, чтобы их превзойти, надо от них хоть чем-нибудь отличаться»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>В этой связи следует отметить характерную тенденцию в среде историков «второго поколения» именовать свое сочинение — «моя летопись», «моя история».

<sup>2</sup>Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С.259.



И.П.Елагин обнаружил, что все авторы, писавшие до него о русской истории, походили друг на друга, так как «повторяют того же Нестора и того же Никона»<sup>1</sup>. Отношение к своему сочинению как к авторской собственности не позволяло историкам «второго поколения» быть на кого-то похожим.

Как известно, писатель первоначально рассматривал свой труд как продолжение «Истории российской» В.Н.Татищева. Написав три книги, доведя исторические события до учреждения опричнины в 1564 году, Елагин вдруг начал писать историю России «от библейских времен до 1450 года (2 книги). По поводу именно этой редакции «Опыта повествования о России», Н.М.Карамзин писал, что «она до времен Иоанна III выбрана почти из одного Татищева, наполнена бесконечными, пустыми умствованиями и писана слогом надутым, отчасти неправильным»<sup>2</sup>.

Надо отметить, что Елагин «выбрал» не только из Татищева, но и из трудов М.В.Ломоносова, Г.-Ф.Миллера, Екатерины II, чью хронологическую канву «Записки касательно российской истории» он взял за основу своего «порядка изложения». Однако считал нужным признаться только в том, что в своем «Опыте» подражал лишь Тациту, Титу Ливию, Саллюстию, Плутарху, Ксенофону, Робертсону.

Иначе говоря, с одной стороны, И.П.Елагин не избежал соблазна и примкнул в создании произведения к летописной традиции нового времени, а с другой — попытался написать «свою» историю иначе, чем она была представлена у Татищева или у Нестора.

---

<sup>1</sup>Елагин И.П. Опыт повествования о России. Предупреждение читателю. М., 1803. С.IX.

<sup>2</sup>Цит. по статье: Монсеева Г.Н. «Опыт повествования о России» И.П.Елагина в оценке Н.М.Карамзина // XVIII век. Л., 1989. Сб.16. С.107.

Но написать «иначе» означало пойти против исторической истины, допустив в историческое повествование авторский просвещенный взгляд на события далекого прошлого, художественные приемы, творческий вымысел. Между тем, очевидно, что отступление от «летописного слова» способствовало высвобождению «авторского начала» в историческом сочинении.

Важно отметить, что отступая от летописного повествования «татищевского типа», историки «второго поколения» нарушали не только жанровую регламентацию летописного стиля, но и выходили за границы «жанрового образа» летописца и наложившегося на него «образа» писателя–просветителя XVIII века. Индивидуализация личности писателя в собственноисторическом сочинении могла осуществляться как в «предисловиях» и «примечаниях» к историческим произведениям, так и в самом повествовании, путем высвобождения «творческой манеры» художника. Между тем, очевидно, что индивидуализация образа автора в предисловиях, а также авторизованный характер «летописного переложения» позволили в какой–то мере создать иллюзию того, что очередная «История России» превращается из «летописного свода» «открытого» для продолжения повествования в авторскую собственность, закрытую от «любителей истории» стеной писательского самолюбия, творческих амбиций.

Рассмотрим подробнее корпус предисловий к историческим сочинениям историков «второго поколения» из среды писателей. И.П.Елагин в своем «Предупреждении читателю» использует традиционный для историографических представлений набор тем: каким источникам сочинитель следовал с последующим их разбором, методы работы над историческими и другими источниками, большое место уделяется критике летописей и существующих собственноисторических сочинений, кроме того, писатель просит снисхождения у своих читателей, так как он пишет Историю, «чтобы занять полезным упражнением праздное

время и удовлетворить желанию друзей, кои Опытта его хотели»<sup>1</sup>. На этот последний мотив, «побудивший его к сочинению «Опытта», хочется обратить особое внимание. Достаточно вспомнить, что «первые историографы» обращались к истории «по указу или прямо по приказу», потом — «по обету», желая принести пользу Отечеству. В предисловиях историков «первого поколения» отсутствуют личные причины, подвигнувшие их к этой деятельности. Кроме того, принципиальным отличием предисловий историков «второго поколения» от предисловий первых историков является их явная критическая направленность. Историки, особенно из писательской среды, стремясь доказать публике, что они пишут «инако», чем Татищев или Ломоносов, подвергли суровой и часто необоснованной критике труды известных историографов, а также летописные источники. Кроме того, в предисловиях историков «второго поколения» больше внимания уделяется обращению к читателю. Предисловия историков из писательской среды часто основаны на «доверительной беседе» историописателя со своим читателем. В этом случае имеет место традиция античной историографии, основные элементы которой были восприняты в XVIII веке русскими историографами. Одним из таких элементов является как раз «интонация доверительной раскованной беседы автора с читателем»<sup>2</sup>. По мнению С.С.Аверинцева, такая интонация лежит в основе стиля Плутарха и «ключевым моментом, гарантирующим единство каждой из биографий и всего сборника в целом, вопреки их стилистической пестроте, является неутомимо поддерживаемая иллюзия живого голоса, зримого жеста и как бы непосредственного присутствия рассказчика»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Елагин И.П. Указ. соч. С.XXXIV.

<sup>2</sup>Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С.259.

<sup>3</sup>Там же. С.259.

Следует отметить, что повествование в форме «раскованной беседы» автора с читателем было характерно и для стиля сатирических журналов XVIII века. И, как уже отмечалось ранее, в сатирических журналах Н.И.Новикова, форма диалога «издателя» и «читателя» предполагала наличие в тексте «жанрового образа» издателя и читателя. Можно предположить, что появление «жанрового образа» автора в сатирических журналах и «жанрового образа» в «Опыте» Елагина связано с просветительскими задачами, которые ставили перед собой сочинители. Так, в «Опыте повествования о России» «автор» проявляется в тексте тогда, когда ему необходимо дать нравственную оценку поступков героев. Как, например, в эпизоде сватовства князя Владимира к Рогнеде, когда она на просьбу Владимира стать его женой «с горделивым презрением отвечала: Не хочу **разуть** сына рабыни Ольгиной; но за Ярополка посягну с охотою»<sup>1</sup>. Этот незначительный эпизод привлекает внимание Елагина, так как писатель, вслед за Н.И.Новиковым, пытается воспитать нравственные чувства в своих современниках, просвещая и воспитывая их одновременно: «Ответ сходный тогдашнему обыкновению, которое в знак повиновения мужьям, обязывало в древности невесту, при вступлении в брак разуть одну ногу жениха; обычай и на нашей памяти еще у многих не беззатных людей во употреблении существовал, а у крестьян и ныне еще остался». Далее в сноске писатель делает следующий вывод: «Не худоб, чтоб и нынешние супруги по крайней мере сие Апостольское не позабывали поучение: «жена да боится мужа своего»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Елагин И.П. Указ. соч. Кн.III. С.336.

<sup>2</sup>Там же. С.336.

Следует отметить «мнимость» «живого голоса, зримого жеста» автора, которая отличает «внутритекстовой персонаж» сочинителя от его реального прототипа. Поэтому, когда И.П.Елагин в предисловии утверждает, что занялся историей, «чтобы занять полезным упражнением праздное время и удовлетворить желанию друзей», то кривит душою. Скорее всего, перед читателем сконструированный писателем персонаж, который занимается историей между делами, для препровождения времени и поэтому ничуть не обеспокоен, каков будет результат.

Несомненно, что легковесность подобных высказываний сочинителя противоречит реальным биографическим событиям, которые предшествовали началу работы Елагина над «Опытom повествования о России» (1789). Достаточно вспомнить, что писатель, продолжая традицию многих историков–неофитов, начал новую деятельность с собирания фактического материала, и с помощью А.И.Мусина–Пушкина собрал коллекцию оригинальных рукописей и копий с документов<sup>1</sup>. Таким образом, «Опыту» предшествовал длительный и серьезный подготовительный период, который ни в какой мере не соответствует версии Елагина о его «случайном» обращении к истории.

Такая позиция писателя по отношению к своему сочинению должна была указывать на его естественную «скромность», за которой, вероятно, скрывалось желание уберечься от возможной критики, предварив ее собственным смиренным признанием в том, что он «слабой кистью» «для отдохновения читателя и себе» в «праздное время» сочинил сей труд.

---

<sup>1</sup>См., например, сб. «Смесь елагинская» (РНБ, ф.550. Q.IV.217. Это собрание документов можно сравнить с «Миллеровыми портфелями».

Но «скромность», украшавшая Татищева и являвшаяся продолжением «литературного этикета» в летописных предисловиях нового времени, отличалась от «скромности» Елагина или Эмина, которые самоуничижительной интонацией, опережая возможный ход событий, пытались уберечь свое сочинение от нападков критики. В этом, на наш взгляд, состоит примета зарождающегося отношения писателя к своему сочинению как к авторской собственности. При этом надо учитывать, что, например, Елагин даже формально не использует в предисловии традиционные уже для историков посттатищевского периода обращение к читателям за «вспомоществованием» в исправлении ошибок или дополнении новыми сведениями. Происходит это потому, что Елагин, обратившись к историческому материалу, продолжает творить в границах писательского «амплуа» и ревностно оберегает свое произведение от какого-либо воздействия со стороны критики и читателей.

Предисловие Ф. Эмина к «Российской истории» можно также отнести к традиционным для собственноисторических сочинений XVIII века произведениям. Вместе с тем, предисловие Эмина отличает от предисловий Елагина «живой голос», «собственная физиономия» писателя. Сочинитель приступал к новому для себя делу, поэтому ему необходимо было заново завоевать читательскую аудиторию, а также привлечь к себе внимание новой категории читателей — «образованных дилетантов» — «любителей истории». Возникает вопрос: каким образом Эмин мог завоевать «внелитературный авторитет» у своих читателей? Как сочинитель преодолевал «отчуждение» читателей? Можно сказать, что Эмин находит выход, используя, безусловно, знакомые ему элементы «летописных» и «автобиографических» предисловий. Как известно, в «летописных» предисловиях летописец рассказывал о том, где, когда и при каких обстоятельствах писалась эта летопись, в «автобиографических» — делился своими сомнениями и трудностями при составлении

сочинения. В Предисловии Эмина эти элементы оказываются связанными между собой: «Хотя я и собрал до сорока разных книг о России упоминающих; но не доставало мне многих древних иностранных Авторов, на мнении которых, согласном с писанием наших Летописцев, хотел я утвердить Историю. В сем случае принял я прибежище к Императорской библиотеке. Выпросил у надзирателя оной, что мне дозволил туда приезжать и всего потребнаго в тамошних книгах доискиваться. Тогда я принужден был малейшее имея о чем нибудь сомнение, ездить в библиотеку, и видя, что трачу больше времени на езде, нежели на сочинении, выпросил я там горницу, и туда на несколько месяцев переселился, пока все нужное из разных книг не выписал»<sup>1</sup>.

Подобная исповедальная интонация не была характерна для предисловий В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова, Г.–Ф.Миллера, М.М.Щербатова, а также Н.И.Новикова и И.П.Елагина, но стала нередко появляться в предисловиях к последующим историческим работам историков «второго и третьего поколения».

Так, например, историк–неофит Я.Штелин в Предисловии к изданию «Подлинных анекдотов о Петре Великом...» сообщает читателям о том, что начал собирать анекдоты, когда «возимел короткое знакомство с фельдмаршалом Князем И.Ю.Трубецким, «у которого часто при столе как им самим, так и прочими Генералами рассказываемы были Анекдоты о Петре Великом»<sup>2</sup>. И Штелин, сообщая читателям о согласии Трубецкого рассказывать их ему, продолжает делиться подробностями этого договора: «если я желаю записывать таковыя сказания, то

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1767. Предисловие. С.ХII—ХIII.

<sup>2</sup>Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом... М., 1800. Ч.1. Предисловие. С.11.

может он мне еще много рассказать о сем Великом Ирое не всем еще известное; (...) а всего удобнее после обеда, когда он обыкновенно курит табак»<sup>1</sup>.

Другой историк-неофит, выплывший из среды рядовых «любителей истории», И.И.Голиков в «Предисловии сочинителя» делится с читателями подробностями своей биографии. Рассказывает о том, что родился в Курске, учился у приходского дьячка, сообщает, где и как у него возник интерес к истории Петра I (у отца были тетради настоятеля Курского Знаменского монастыря, архимандрита Михаила, служившего при Петре I полковым священником) и заключает: «самыя обстоятельства жизни моей, сколь они с одной стороны затруднительны ни были с другой питали, так скажу, мою страсть к Истории Государя»<sup>2</sup>. Так, в собственноисторических сочинениях историков «второго поколения» сквозь «жанровый образ» историка проступают черты реальной личности. В «предисловиях» появляются также биографические подробности, которые приближают автора к читателю.

Наряду с автобиографическими элементами, в предисловии И.И.Голикова присутствует традиционный также и для «летописных» предисловий элемент самоуничижения автора, который превратился в один из «обязательных элементов текстового клише» в предисловиях к собственноисторическим сочинениям.

Как уже говорилось ранее, в предисловиях «первых» историков «самоуничижительный элемент» лишь отдаленно напоминал «покаянные слова» древнерусского книжника. Понимая, что невозможно создать еще полную картину русской истории с древнейших времен, В.Н.Татищев и Г.-Ф.Миллер,

---

<sup>1</sup>Там же.

<sup>2</sup>Голиков И. Деяния Петра Великого... М., 1837. Т.I. Предисловие сочинителя. С.V—VI.



заботясь, главным образом, о предмете своих исследований, просили у читателей «вспомоществования» в исправлении ошибок и «пополнении» их сочинений новонайденными источниками. Историки же «второго поколения» из среды рядовых «любителей истории» и писателей, особенно обращают внимание читателей на возможные недостатки своих сочинений, объясняя их различными причинами, но чаще всего своей «неискушенностью» в «новом деле». Рассмотрим подробнее роль и значение «саморазоблачительных» формул в предисловии историка из среды рядовых читателей Голикова.

Безусловно, саморазоблачительная интонация в предисловии И.И.Голикова тесно связана с процессом самовыявления сочинителя в предисловиях и исторических сочинениях. «Такое благосклонное расположение в читателях для меня тем нужнее, что я, как неискусный писатель, и кроме русской грамоты ничему не учившийся, и не мало не упражнявшийся в так называемых словесных науках, изданием Истории Петра Великого мог бы подвергнуть себя правильной критике. Но, любезный Соотчич! не смотри на меня как на беллетриста и Российского автора: я не то, и тем быть не могу ни по моему воспитанию, ни по званию моему»<sup>1</sup>. Интересно, что литературу на историческую тему И.Голиков разделяет на беллетристическую и собственноисторическую литературу, к которой также не склонен причислять свое сочинение: «Я человек не ученый, следовательно не знающий никаких критических правил, и не искусен в историческом слоге; что я совсем не Историк, но только собиратель воедино дел Петровых и благодарный повествователь оных. Почему и читатели мои будут столь благосклонны, чтобы не требовать от меня больше...»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Голиков А.А. Указ. соч. Т.1. С.1.

<sup>2</sup>Там же. Т.1. С.VII.

С одной стороны, искренняя интонация этих отрывков свидетельствует о подлинном сильном чувстве, которое овладело Голиковым, когда он прикоснулся к доселе незнакомой ему теме. Чувство, о котором идет речь — это «чувство истории», «чувство значительности происходящего», вернувшееся к русскому человеку во второй половине XVIII века. С другой стороны, содержание предисловия является показателем формирующегося в литературе авторского начала, так как сочинителя начинает пугать критика.

Примечательно, что И.И.Голиков определяет круг своих возможных читателей как «подобных» ему, «ничему кроме Русской грамоты не учившихся»<sup>1</sup>. Вероятно, Голиков, как и Эмин или Елагин, стремился таким образом заранее предотвратить возможные нападки взыскательных читателей, прибегая к саморазоблачению и сознательному сближению «исходной» позиции историка-дилетанта и рядового «грамотного соотчича». Поэтому этот «реверанс» «неискушенному читателю» можно рассматривать и как часть уже сложившегося к началу XIX века на страницах предисловий к собственноисторическим сочинениям «литературного этикета» как продолжение «летописного этикета» на новом историографическом уровне.

Учитывая писательскую специфику многих «новообращенных» историков «второго поколения» можно с уверенностью сказать, что чем дальше был автор от предмета истории, тем глубже были его «реверансы» перед читателями и сильнее звучала в предисловии саморазоблачительная тема,

---

<sup>1</sup>Там же. С.VII. Здесь следует вспомнить, что В.Н.Татищев, Г.-Ф.Миллер в своих обращениях к читателям порой декларировали равенство исходных возможностей писателя и читателя, тем самым внушая читателю уверенность в своих способностях.

призванная хоть как-то смягчить удары критики. Важно отметить также и то, что «самоуничужения» летописного толка у историков «второго поколения» приобретают черты нового явления в литературе; а именно — самокритики. Особенно ярко элементы «самокритики» как возможного способа уберечься от нападков критики, проявились в предисловиях историков-неофитов из среды литераторов.

Так, например, «заигрывая» со своим читателем, дабы предупредить возможные критические выпады с его стороны, Ф.Эмин использует традиционную летописную «формулу» самоуничужения, дополненную «татищевским» обращением к читателю за «вспомоществованием»: «Но есть ли в сем моем труде същутся ошибки, которых, может статья, я для того не видел, что они мои ... то кто оныя в перьвых моих промах приметить, прошу меня о том уведомить, дабы я впредь оных заберечься мог. Я знаю, что ни одно сочинение критических примечаний миновать не может, чего я однакож усердно желаю: ибо между многими такими Критиками, которые единственно для того раздробляют дела, дабы себя представить другим говорить умеющими, будут и такие, кои с рассуждением глубоким вникнуть в свойство каждого мною описуемого действия, и **нашед ошибки или мои, или тех, на которых я ссылаюсь,** разумною своею критикою будут причиною исправления оных»<sup>1</sup>. Далее следует суждение Эмина о причинах допущенных «ошибок». При этом, пытаясь воздействовать на эмоциональные чувства читателей, писатель использует в повествовании лирический тон и исповедальную интонацию: «Всегда потребно с одной дороги на разныя сходить стези ни одной почти из оных не пропуская; следовательно в таком путешествии находящемуся надобно пути оглядываясь на все стороны. Таким образом продолжающий свой путь легко ли может окончить свое странствие? Можно ли на него негодовать, естли он на толь

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т. I. Предисловие. С. XXVI.

многих тропинках чего нибудь такого не приметить, что ему мелкою вещью по причине множественных им прежде виденных предметов показать, а в самом деле лучшего его внимания было достойно? Такое — то есть путешествие каждого Историка. Мертвыми и лучшими живых проводников я разумею примерныя сочинения славных Авторов и верныя записки к описуемой им Истории принадлежащие; а живые провожатые суть же **разумные Критики**, кои не пристрастием, не завистею, не легкомыслием, но усердием к обществу и желанием тому добра, кого поправляют, будучи побуждаемы, делают разумные свои на чужие дела примечания, и стараются оных погрешности разумом своим на справедливости основанном исправить»<sup>1</sup>. Идеальный образ «разумного» критика из читательской среды, выстроенный Эминым, несколько напоминает образы благонамеренных «любителей российской истории», которые встречались в предисловиях Н.И.Новикова и на страницах его сатирических журналов. В предисловиях ко второму и третьему тому «Российской истории» Эмин упоминает уже конкретные фамилии критиков «разумных», также в его ответных характеристиках критикам «завистливым» проступают контуры реальных людей, любительски занимающихся историей. Среди них и безымянный «ученый муж», который писал к своему приятелю, что «он Шведскими и Халдейскими летописями и древнейшими Астрономическими примечаниями докажет, что и в моей Истории много есть ошибок. Легко статься может, и конечно я в оных признаться не постыжусь, ежели справедливо будут доказаны. Я в том уверен, что сей муж о Истории народов довольноное может иметь понятие; ибо уже тому стало десяти лет как он углубился в чтение исторических книг»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Там же. Т. I. С. XXVI.

<sup>2</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т. III. Предисловие. С. XIII.

Дальше Эмин на глазах у читателя прослеживает биографию этого неизвестного нам «любителя истории», одновременно развенчивая его предполагаемую позицию по отношению к «Российской истории». Иронизируя над другим критиком, Эмин пишет: «Еще некто объявившийся нашей Истории Писатель, говорят, что уже написал том критики на мою Историю. Я ему посоветую, как меня критиковать с удачею: написать Историю лучше моей»<sup>1</sup>. Эмин, умудренный горьким опытом, утверждает, что «... критики не бояться пожелать оной должно. По моему мнению, Критик и Писатель должны быть великие друзья»<sup>2</sup>. Интересно, что размышления Эмина о необходимости критики можно соотнести с популярным тогда «обычаем» историков «второго поколения» «переписывать» и «пополнять» созданные до них сочинения историков. Следующее заявление Эмина создает впечатление, что историку критика нужна как оправдание того, что он также по «обычаю» историографов «выбрал» из Татищева и «прилепился» к Ломоносову: «...если кто желает что бы сочинения его никто не критиковал, то видно, что оно критики не стоит. В свете же ничего такого совершеннаго людьми не зделано, чтобы другими со временем поправлено или украшено быть не могло. Мы видим и в порядке естества, что в оном ни одна вещь сама собою не стоит так, чтоб от другой никакой помощи не заимствовала»<sup>3</sup>. Эмин, как писатель не раз подвергавшийся критике за свое литературное творчество, вероятно, был прав, уделяя такое большое внимание своим взаимоотношениям не просто с читателем, а с читателем-критиком.

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т. III. Предисловие. С. XII—XIII.

<sup>2</sup>Там же. С. XXXII.

<sup>3</sup>Там же. Т. I. С. XXIX.

Критики как актуализировавшаяся часть «образованных дилетантов» могли своей беспощадной (справедливой, несправедливой) критикой больно ударить по авторскому самолюбию и «совершенно отвратить» начинающего историка от авторства, как это случилось, например, с автором «Душеньки» И.Ф.Богдановичем, который очень остро отреагировал на критику Г.Л.Брайко в адрес своего «Исторического изображения России»<sup>1</sup>.

Н.М.Карамзин в статье, посвященной памяти И.Ф.Богдановича, высказывает крайне противоречивое суждение об авторском самолюбии писателя: «Никто не замечал в нем авторского самолюбия, — утверждает Карамзин и тут же продолжает, — не мудрено, что он не любил критики, пугающей всякое нежное самолюбие, и признавался, что она своею грубою страстию могла бы совершенно отвратить его от Авторства»<sup>2</sup>. Богданович, вероятно, имел в виду и критику его «Исторического изображения России», которая все-таки смогла отвратить его от «авторства» и первая часть его исторического опыта так и осталась последней.

Таким образом, писатели, «записавшиеся в историографы», исключительно болезненно реагировали на критику в адрес своих сочинений, то есть, например, те рекомендации читателей, которые Миллер воспринимал как «вспомоществование» не себе лично, а «общему делу», историки-дилетанты из среды литераторов воспринимали как «неблагоденственную» критику, направленную исключительно на то, чтобы «опорочить творца» и его «детище».

---

<sup>1</sup>Богданович И.Ф. Историческое изображение России. Спб., 1777. Ч.1. О содержании критических выпадов Г.Брайко подробнее будет сказано далее.

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. О Богдановиче и его сочинениях / Карамзин Н.М. Избран. соч. М.: Л., 1964. Т.II. С.226.

Другими словами, страх перед критикой свидетельствовал о появлении «авторского самолюбия» в среде историков «второго поколения», что, безусловно, отличало их от историков «первого поколения».

Д.С.Лихачев отмечает, что существует тесная связь между увеличением роли личности писателя в литературе с появлением критики и литературоведения. По его словам: «Критика и литературоведение в истории русской культуры возникло одновременно с расцветом в ней индивидуального творчества»<sup>1</sup>. Очевидно, что расцвет критики в недрах собственно исторической литературы также способствовал дальнейшей индивидуализации творчества. В собственно исторической литературе критика появилась в результате взаимодействия писателя и читателя. «Открытость» для критики и «поправления» исторических работ Татищева и Миллера во многом способствовала раскрепощению критических возможностей читательского сознания. В то же время критика формировалась и в трудах самих историков «первого и второго поколения», которые, «пополняя» труды предшественников, критически переосмысливали их, в результате историк неминуемо становился еще и критиком и выражал свои взгляды на труды предшественников на страницах предисловий и примечаний к историческим сочинениям.

Усиление личностного начала в предисловиях к историческим сочинениям сочеталось со стремлением начинающих историографов «раствориться» в традиции и в случае неудачи спрятаться за авторитеты, что подкреплялось критическими выпадами историков-неофигов в адрес тех авторитетов, к кому они «прилеплялись».

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения. // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.105.

Так, например, критические высказывания Эмина о трудах Татищева и Ломоносова в предисловии к первому тому «Российской истории» были расценены некоторыми читателями как проявление «нескромности» сочинителя. Эмин приводит это суждение читателей в свой адрес уже в предисловии к третьему тому своего сочинения, и тут же отвечает читателям в такой же «нескромной» манере: «Некоторые мне говорили, что моя История была бы гораздо лучше естли бы я не критиковал г.Ломоносова. Щастливое свойство эха славы! Я вместо извенения теперь скажу, что Г.Ломоносов при всех своих достоинствах, не мог с желанною удачею писать Российской истории как по тому, что был занят многими делами и имел многих милостивцев и друзей, к первым был принужден ездить, а с другими знаться»<sup>1</sup>. Подобная «нескромность» в оценках своих предшественников, появившаяся в среде историков-неофитов «второго поколения» свидетельствовала о том, что близился конец эпохи средневековой «скромности» творца, нашедшей свое продолжение в том числе и в историографической деятельности историков «первого поколения». Способность историка отвечать на критику по мере ее поступления явилось показателем «живого диалога», установившегося в 60—70-е годы XVIII века между писателем и читателем уже как реальными людьми.

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т.Ш. Предисловие. С.VII.



«Раскрепощение личности», возрастание личностного начала в собственноисторической литературе 60—80-х годов было связано с проникновением в историческое повествование субъективной личностной позиции и эстетических представлений историографа. Развитие «личностного начала» сказывается и на «изменении представлений об авторской собственности». Иначе говоря, если В.Н.Татищев или Г.-Ф.Мишлер не относились к своему историческому сочинению как к авторской собственности, что предполагала летописная традиция, и их сочинения были открыты для пополнения последующими историями, то историки «второго поколения», из среды литераторов, относились к своим историческим сочинениям как к авторской собственности, и не предполагали расширения и дополнения авторского повествования другими историками.

Индивидуализация творческой манеры повествования свидетельствует об отходе историков «риторического направления» (Ф.Эмин, И.Елагин, А.Сумароков, И.Богданович) от «безлично-летописной манеры повествования». Ориентация на вкус читателей, сформированный под влиянием главенствующей литературной эстетики, также выдает в историках второго поколения литераторов, желающих понравиться своим читателям, неискушенным в чтении исторических хартий и желающим «легчайшим» образом получить «наинужнейшие сведения из истории России». Желание «выйти за рамки летописи», которая, по мнению этих писателей, не имеет эстетической ценности, связано с их ориентацией на широкого читателя. Перевод «старого» наречия на «новое», изменение летописной манеры повествования — все это свидетельствует о появлении литературных задач и их решении путем художественного освоения исторического пространства. Вместе с тем, сам принцип «конструирования» жанра монументальной истории у историков «второго поколения» повторяет принцип конструирования летописи, который отразился на всей собственноисторической литературе XVIII

века. Ф.Эмин, И.Богданович, А.Сумароков, И.Елагин взялись «переписывать» и дополнять В.Татищева, М.Ломоносова, М.Щербатова, не ссылаясь вообще или критикуя своих предшественников. При этом историки «риторического направления» стремились выйти не столько «за рамки летописи», сколько за рамки повествования первых историков, стремясь при этом чем-нибудь отличиться от них и друг от друга. Стремление написать «иначе» и определило усиление индивидуализации их творческой манеры и насыщенность исторического повествования художественными элементами. Таким образом, мы можем с полным основанием говорить о том, что исторические сочинения В.Н.Татищева, М.М.Щербатова, М.В.Ломоносова по отношению к историческим сочинениям, написанным в жанре монументальной истории, становятся «начальными летописными сводами». «История Российская» В.Н.Татищева была воспринята в среде историков как первого, так и второго поколения как летописный свод. На «плечах» Татищева стоит перевернутая пирамида русских историков. О В.Н.Татищеве нельзя говорить как о «последнем летописце», т.к. он не просто продолжил традицию русского летописания, он также дал основание относиться к жанру монументальной истории как к летописи нового времени, благодаря чему мы можем говорить о продолжении летописной традиции и в XVIII веке. Вместе с тем как обязательный элемент в исторических сочинениях историков «второго поколения» присутствуют предисловия, которые так же как и у историков первого поколения, включают в себя элементы летописных предисловий. Однако следует отличать задачи, которые преследовались в этих предисловиях первыми историками и историками «риторического направления». Первые историки посредством этих предисловий располагали к сотрудничеству всех «любителей истории» на благо общему делу. Историки «риторического направления» формально используют или не используют вообще в предисловиях традиционное уже для историков

постатищевского периода обращение к читателям за «вспомоществованием», относясь к своим сочинениям как к авторской собственности. А «самоуничижительный» элемент лишь отдаленно напоминает «покаянные слова» древнерусского книжника и предполагал обращение читателя на возможные недостатки своих сочинений, предотвращая таким образом вероятные нападки взыскательных читателей, прибегая часто к саморазоблачению и сознательному сближению собственной «исходной» позиции историка–неофита и позиции рядового «грамотея соотчича». Желание понравиться потенциальному читателю, которое отличало историков из среды литераторов, привело к частичному разрушению «жанрового образа» писателя. Сквозь абстрактный образ автора в предисловиях к собственноисторическим сочинениям «прорастают» черты реальной личности историка. «Жанровый образ» не позволял историкам второго поколения найти сочувствие и понимание у читателей, что было очень важно для авторского самолюбия.

Стремление предотвратить критику, страх перед читательской критикой свидетельствует о появлении авторского самолюбия в среде историков «второго поколения».

Известно, что существует «тесная связь между увеличением роли личности писателя в литературе с появлением критики и литературоведения»<sup>1</sup>. Очевидно, что расцвет критики в недрах собственноисторической литературы также способствовал дальнейшей индивидуализации творчества историков. «Открытость» для критики исторических работ Татищева и Миллера во многом способствовала раскрепощению критических возможностей читательского сознания.

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения. С.105.

Говоря об активизации авторского самолюбия в среде историков «второго поколения» и индивидуализации личностной позиции читателей, хочется отметить и общую тенденцию активизации интеллектуальных способностей образованной части общества, которая превращалась из пассивной массы поглащающих знания читателей в активно мыслящую, готовую поделиться своими знаниями с другими, индивидуализированную категорию читателей. Другими словами, собственноисторическая литература уже не нуждалась в «жанровом образе» читателя или критика, так как располагала своим контингентом реально существующих читателей — «образованных дилетантов», превратившихся под влиянием русских историков из субъектов в объекты исторического знания.

## **Глава третья**

### **Становление художественно- исторических жанров в конце XVIII — начале XIX века**

Стаповление художественно–исторической прозы проходило в несколько этапов: на первом этапе синкретическое единство художественного и научно–познавательного в собственноисторической литературе историографами «второго поколения» нарушалось в пользу художественного как вследствие их ориентации на вкусы и потребности «неискушенных» читателей, так и в результате «высвобождения личностных особенностей автора», его индивидуальной творческой манеры из рамок летописной и классической регламентации стиля.

Следствием воздействия на сочинителей критики читателей, не искушенных в чтении исторических сочинений Татищева или Ломоносова, в собственноисторической литературе является дихотомия художественного и научно–познавательного в рамках монументальных жанров исторических сочинений, где сквозь объективную манеру повествования, близкую к летописной, с 60-х годов XVIII века начинают проступать черты индивидуальной творческой манеры создателя.

Итак, рассмотрим подробнее причины дихотомии художественного и научно–познавательного в собственноисториографических сочинениях, принадлежащих перу историографов «второго и третьего поколения».

Как уже было сказано ранее, в историографии с 70-х годов XVIII века важнейшим критерием при отборе исторического материала и способе его изложения являлась установка сочинителей «второго поколения» на вкусы и восприятие «неискушенных» читателей. Если принимать во внимание тот факт, что в среде читателей исторических сочинений преобладали именно «неискушенные» читатели, желающие «легчайшим образом» получить «наинужнейшие сведения» из истории России, то становится понятным, почему историки «второго поколения» поставили перед собой задачу писать исторические сочинения таким образом, «чтобы исторически значимое сделать эстетически значимым, сделать предметом

эстетического наслаждения, извлечь высший «идеальный смысл»<sup>1</sup>. Другими словами, цель историописателей сводилась теперь к следующему тезису: «Сделать историю полезною зависит от искусства писателя»<sup>2</sup>. А «искусство писателя», так же как и читательский вкус формировались под влиянием господствующей литературной эстетики.

Можно предположить, что стилевая регламентация, распространенная в системе классицизма, отразилась и на требованиях читателей к прозаическим жанрам собственноисторической литературы. Но поскольку проза была нелюбимой падчерицей классицизма и для нее не предусматривалось каких-то особых требований в соблюдении стиля, то читатели, а под их воздействием и историографы, переносили требования к «слогу» и «предмету» изображения исторической действительности с других жанров и на собственноисторические сочинения.

Однако процесс формирования в литературе классицизма эстетических требований к собственноисторической прозе на самом деле протекал не так просто и однозначно. Можно даже предположить, что не уместающийся в каноны эстетики классицизма синкретический прозаический жанр «монументальной истории» нарушил незыблемость этих канонов. Так, собственноисторическая литература превратилась в поле битвы между теми «неискушенными» читателями, которые предъявляли к историческим сочинениям такие же требования, как, например, к драме, и теми читателями, кто видел в историческом сочинении прежде всего достоверное, соответствующее «слову» исторического источника, свидетельство, повествующее правду об истории России без

<sup>1</sup>Канунова Ф.З. Из истории русской повести. Томск, 1967. С.74.

<sup>2</sup>Свободные часы... 1763. С.25.

кушор и эстетической «цензуры» историографа. В основе условного деления этих читателей на два лагеря лежит их отношение к историческому сочинению либо как к научно-познавательному труду, либо как к литературному произведению<sup>1</sup>. Характерно, что эти два лагеря читателей, где второй несравненно малочисленнее первого, выражали свое недовольство в открытой критике, направленной на каждое издаваемое в течение второй половины XVIII века историческое сочинение<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>В предыдущих главах речь шла о «жанровых образах» «читателя» и «писателя» в собственноисторической литературе. В этой главе мы говорим о «читателе» и «писателе» как о реальных людях, т.к. именно в собственноисторических произведениях, принадлежащих перу историков «второго поколения» и в отношении к этим сочинениям читателей проявляются признаки разрушения «жанровых образов» «читателя» и «писателя».

<sup>2</sup>Следует отметить то постоянство, каким отмечено в историографии разделение читателей на тех, кто имел, по словам Эммина, «ребяческие мысли» и довольствовался «небылицами», и тех «любителей российских древностей», кто критиковал Татищева за искажение летописи и требовал сохранить в историческом сочинении все признаки первоисточников. Безусловно, такое деление всей читательской аудитории представлялось несколько схематичным, однако, оно отражает состав читателей не только исторических сочинений, но и читателей литературных сочинений. Н.М.Карамзин, оценивая в 1819 году «Опыт повествования о России» И.П.Елагина, в письме А.Н.Голикову сообщает следующее мнение о возможностях его опубликования: «... (господин) Елагин в царствование Екатерины славился как искусный, красноречивый переводчик одного из романов аббата Прево и трагедии «Безбожный»; найдутся и теперь люди, коим слог, искусство и философия его полюбятся; для них можно напечатать эту историю, или отдать в рукописи на сохранение в Императорскую библиотеку, где любознательные станут читать ее, как замечательное произведение минувшего столетия России».

Прим. по статье: Моисеева Г.Н. «Опыт повествования о России» И.П.Елагина в оценке Н.М.Карамзина // XVIII век. Л., 1989. Спб. 16. С.107.

Эммин Ф.А. Российская история. Спб., 1767. Т.1. Предисловие. С.ХХ.



Таким образом, перед историками «второго поколения», желающими угодить читательскому вкусу, вставала задача: используя «приятный» и «ясный» слог, не нарушая исторической «вероятности», сделать «исторически значимое» «эстетически значимым». Результатом поиска историками-неофитами путей достоверного и одновременно «приятного» изображения исторических событий стало художественное освоение ими реального исторического пространства, приведшее в конечном итоге к выделению из собственно исторической литературы художественно-исторической.

Совершенно очевидно и то, что в каждом из читательских лагерей также не были выработаны единые критерии оценок исторических произведений. Поэтому, в результате этого, читательская критика могла привести историографа в полнейшее замешательство и окончательно отвлечь его от этой деятельности. Так, например, «Российская история» Ф.Эмина подвергалась именно такой критике читателей. Писатель сам признается в сомнениях, навеянных противоречивой критикой, читателей регламентированного «слога»: «Я знаю, что нет в свете ничего такого, чтобы всем нравиться могло, почему сему общему правилу многия последуя, также говорят, чего я мою Историю писал простым слогом, и будто бы оную надобно писать громко (...) Но много есть таких, коим простыя и внятныя описания не нравятся, и кои тот слог любят и называют высоким, которого не разумеют»<sup>1</sup>. Иных из числа читателей — «любителей истории» интересовала и другая проблема: почему «слог» не соответствует летописному «наречию» и почему само сочинение оказалось перегружено вымышленными фактами и подробностями. Этих читателей не устраивала история «в духе» Эмина, и, что важно, они предъявляли свои претензии не к Эмину-писателю, а к Эмину-историку, воспринимая историческое сочинение как

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т. II. Предисловие. С. IV.

научно-познавательный источник. Поэтому, наиболее дотошные из них, вероятно, воспитанные на «Задачах Миллера», требовали от историка уточнения таких деталей, как то: «из какого дерева или камня построены многие монастыри»<sup>1</sup>. Возможно, некоторые из этих «любителей истории» были далеки от занятий историей, но находились ближе к исторической истине, чем писатель, «записавшийся в историографы».

Однако подлинных «любителей истории» было значительно меньше, чем тех, кому милее исторической «вероятности» были наполненные «небылицами» исторические сочинения И.Елагина, И.Богдановича или Ф.Эмина. Можно сказать, что именно эта большая часть читателей играла определяющую роль в выборе историками стратегии сочинений.

Безусловно, что ни «древнее наречие», на котором были написаны летописи или иные исторические документы, ни изложение событий «по обычаю летописцев», лишённое каких-либо пояснений со стороны историка, не могли удовлетворить запросам «неискупенных» в чтении «древних хартий» читателей. Поэтому, начиная с Татищева, летописный стиль повествования переосмысливался сочинителем и приводился в соответствие с эстетическими запросами тех читателей, кто видел в историографии не науку, а искусство. Важно отметить, что историки, часто создавая свои сочинения по летописному методу, «пополняя» предыдущие «списки», в то же время стремились написать «иначе» и поэтому отступали от «буквы» оригинала, искажая до неузнаваемости «Нестеровы простые сказания». Характерно, что в большинстве случаев такое отступление от летописного повествования в угоду читательскому просвещённому вкусу, оборачивалось еще большим недовольством читателей, так как «слог» и авторская манера

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т. III. Предисловие. С. VI.

изложения, сменившая летописную, часто были затруднены для восприятия современниками, и не соответствовали представлениям читателей о том, каким «слогод» должно быть написано историческое произведение.

М.М.Щербатов первым в русской историографии осуществил «нелетописное» изложение русской истории. Сводя разные летописные списки, сопоставляя события, историк пытался объяснить поступки героев истории, устанавливая причинно-следственную связь между событиями, отдаленными друг от друга во времени, тем самым, нарушая летописно-анналистическую манеру изложения истории. По словам историка С.М.Соловьева, М.М.Щербатов «предчувствовал в истории науку, и потому труд его так возвышается над трудами Ломоносова, и над трудами последующих писателей; которые, пиша историю имели в виду единственно краснописание. Но почему же при таких несомненных достоинствах труд Щербатова не пользовался и не пользуется должным уважением?» — задается вопросом С.М.Соловьев и тут же отвечает: — «Это явление объяснить не трудно: в то время, когда в истории всего более ценили изящество формы, краснописание, труд Щербатова отличался противоположною крайностью: слогом крайне тяжелым, неправильным; стоит прочесть выходки краснописца Елагина против Щербатова, чтоб понять, почему последний так много проигрывал в глазах современников»<sup>1</sup>. С другой стороны, по мнению того же С.М.Соловьева, Ломоносов, как «отец литературного направления» в русской историографии, в поисках лучших форм завоевания мниувшего использовал «сухой», безжизненный риторический перефразис летописи, повергающей иногда сильным искажением»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Соловьев С.М. Указ. соч. С.62.

<sup>2</sup>Соловьев С.М. Указ. соч. С.41.

Для нашей работы важно отметить само стремление «выйти за рамки летописи» с целью угодить вкусу читателей как со стороны историографов, занимавшихся историей ради самой истории, так и со стороны представителей «риторической школы» в русской историографии: М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова, Ф.Эмина, И.П.Елагина, И.Ф.Богдановича.

Как становится понятным из слов С.М.Соловьева, водоразделом между читаемыми и нечитаемыми широкой публикой историографами становится язык их сочинений. Н.Я.Эйдельман, пытаясь объяснить причины непопулярности работ Татищева и Щербатова у русской публики, отмечает: «Итак, дело не в недостатке дарований. Дело, прежде всего, в языке. «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу обратив его к живым источникам народного слова» (Пушкин). Свидетельство достаточно авторитетное, — размышляет исследователь, — и здесь же первая причина, помешавшая Татищеву и Щербатову выйти в Карамзины: не было в их распоряжении такого языка. Это понимали, между прочим, и сами предшественники»<sup>1</sup>. Вместе с тем, нельзя отрицать, что в историографии после Татищева «старались» историки «второго поколения», которые имели свою читательскую аудиторию и чьи исторические произведения проложили дорогу Карамзину-историографу. Их вкусы и эстетическая позиция отражали, как в зеркале, вкусы и эстетические требования читателей своего времени.

В 1763 году в журнале «Свободные часы» появилась анонимная статья «Опыт о историках». Следует иметь в виду, что эта статья появилась в журнале, издаваемом писателем М.Херасковым, известным своими политическими и псевдоисторическими романами «Нума, или процветающий Рим», «Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кадма и Гармонии».

<sup>1</sup>Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 1983. С.46.

Потому не случайно, что основной мотив, проходящий через все повествование об историках, выражается в следующем тезисе: «Сделать историю полезною зависит от искусства писателя». Исходя из этого положения, в «Опыте», оценивая труд того или иного историка, автор статьи, прежде всего, обращается к слогу его сочинения: «Главное намерение сего опыта о историках есть показать различия слога каждого писателя»<sup>1</sup>. И дальше, развивая свою мысль, автор обращается к разбору слога исторических трудов Геродота, Ксенофонта, Полибия: «Слог Геродотов есть чист, приятен, естественен, прост, без всякой низкости: словом, весьма способен к Истории»<sup>2</sup>.

Важно отметить, что характеристика «слога» исторического сочинения становится с 60-х годов XVIII века определяющей в историографической критике. Так, например, из всех трех томов «Российской истории» Ф.Эмина Н.И.Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях» выделил именно самый удачный последний том, причем писателя интересовало, главным образом, не содержание и представление исторического материала, а то, каким слогом он был сочинен: «Собственные его сочинения, а особливо Российская история, достойна похвалы: в первых книгах его издания, слог не довольно чист, но в последующих гораздо переменился...»<sup>3</sup>. Показательно, что Новикова интересует в историческом сочинении, главным образом, слог, но не объясняет саму причину перемены к лучшему, происшедшей в третьем томе.

<sup>1</sup>Свободные часы. 1763. Январь. С.25.

<sup>2</sup>Там же. С.28.

<sup>3</sup>Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Сиб., 1772. С.287.

В действительности, слог повествования в третьем томе стал простым, а изложение близким к летописному: в этом томе Эмин старался нивелировать особенности своей творческой манеры и избегал вымышленных диалогов, монологов, авторских «апофегм», делающих слог первых двух томов «Российской истории» «пухлым» и «тяжелым».

Важно отметить, что Новиков применяет к историческому сочинению Эмина ту же систему оценок, в которой он оценивал, например, драматические произведения. По мнению П.Н.Беркова, в системе оценок драматических произведений Новикова, «оценки содержательности и значительности тематики произведений, находят свое выражение исключительно в «стиле» и «слоге» — «твердый» и «важный»<sup>1</sup>. Одной из важных характеристик, распространяемых Новиковым на слог драматического произведения, является характеристика чистоты слога — «чистый» и «исправный». При этом, по мнению исследователя, оценивается степень стилистической выдержанности, степень точности соблюдения правил стилевого комбинирования церковно-славянского и русского языков в литературной практике»<sup>2</sup>.

Возвращаясь к статье «Опыт о историках», можно сказать, что в литературной критике и в критике собственноисторических сочинений содержательной стороне отводилось значительно меньше места, чем, например, рекомендациям «слогу» и «стилю». Так, автор в «Опыте» уделяет внимание исключительно рекомендациям, каким образом сделать «внеэстетический исторический материал эстетически значимым». Другими словами, «натура» становится самооценкой только в том случае, когда писатель своим искусством преображает ее. Характерно,

---

<sup>1</sup>История русской критики. М.: Л., 1958. Т.I. С.93.

<sup>2</sup>Там же. С.93.

что проблема отражения действительности решается неизвестным автором «Опыта» в границах классических представлений, и сводится к следующим тезисам: наибольшее эстетическое наслаждение от исторического сочинения читатель может получить только тогда, когда искусство «сходствует столь близко с натурой, что его почитают за самую природу», и, вместе с тем, «природа не действует никогда столь сильно как тогда, когда искусство в ней сокрыто»<sup>1</sup>. Иначе говоря, читательское восприятие исторического сочинения полностью зависит от таланта «художника», также и от его некоторых личностных характеристик. «Историк должен быть остер умом и тогда история его, — по мнению автора «Опыта», — будет заключать в себе примеры красноречия, остроты мыслей, нравоучений, политики, преимуществ мудрого правления»<sup>2</sup>. В то же время, наставляя будущего сочинителя истории, автор «Опыта о историках» предлагает историку возможные варианты его появления в тексте сочинения для того, чтобы, помогая читателям своими выводами, размышлениями, осваивать «легчайшим образом наимужнейшие сведения», прослыть «разумным» и «философом»<sup>3</sup>.

Здесь необходимо вспомнить, что первую редакцию «Истории» В.Н.Татищева читатели критиковали именно за «отсутствие красивого рассказа, рассуждений и выводов самого автора»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Свободные часы. С.29.

<sup>2</sup>Там же. С.29.

<sup>3</sup>Важно отметить, что с позиций классицизма проникновение автора в текст должно было происходить в рамках «жанрового образа» и не предполагало индивидуализации авторского «я», что произошло в исторических сочинениях историков «второго поколения».

<sup>4</sup>Соловьев С.М. Указ. соч. С.36.

Правомерность этой оценки подтвердил и Н.М.Карамзин, утверждая, что «историк должен все обделать в голове своей: ему труд, а нам плоды трудов его»<sup>1</sup>. Можно сказать, что требование к историку, высказанное Карамзиным с позиции читателей, обобщает опыт читательской критики XVIII века.

Таким образом, понятие «искусство писателя» в отношении собственно исторического сочинения должно было включать в себя такие компоненты, как: «приятный», «чистый», «ясный» слог, умение автора не просто изложить исторические события, но и помочь читателю разобраться, вводя разъяснения и комментарии.

Кроме того, необходимым условием для создания «простого» и логически выверенного повествования, доступного пониманию даже «неискушенного» читателя, явилось установление сочинителем причинно-следственной связи между событиями истории. Так, например, автор статьи «Опыт о историках» считает, что «разумный историк не ограничивает себя при описании одних только действий, но старается сыскать причины»<sup>2</sup>. Поскольку беспристрастное летописно-анналистическое изложение исторических событий представляло собой «внеэстетическое» явление литературы, то сочинителю необходимо было трансформировать его в соответствии с представлениями современников об «искусстве писателя». Кроме того, летописно-анналистическая манера изложения была уделом летописцев, и чтобы как-то отличаться от них, и соответственно от своих предшественников, историку следовало активно вмешаться в само историческое повествование, нарушая летописно-анналистическое изложение, с целью «усмотреть» и представить читателям причины и следствия событий, порой отдаленных друг от друга во времени.

---

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Пантеон российский авторов. // Избр. соч.: В 2-х т. М.: Л., 1964. Т. II. С.164.

<sup>2</sup>Свободные часы. С.25.



Само по себе это стремление не содержало в себе никакой угрозы достоверному изображению исторических фактов. Более того, в начале XIX века результатом такого поиска «причин и последствий» в истории явился определенный метод изложения исторического материала, получивший свое завершение в «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина, который в предисловии к «Истории» прокомментировал его следующим образом: «Читатель заметит что описываю деяния не врозь, по годам и дням, но совокушляю их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место»<sup>1</sup>. Однако в собственноисторических сочинениях предшественников Н.М.Карамзина подобное распределение исторического материала с целью установления причинно-следственной связи между событиями истории привело к созданию субъективной «авторской» истории России, чего, безусловно, не предполагал Карамзин, заботясь об удобстве читательского «впечатления в памяти».

Этот метод изложения исторического материала стал доминировать с конца 60-х годов XVIII века, когда у собственноисторической литературы появился свой читатель, ради которого, а также ради установления истины в самых «темных» местах истории, следовало таким образом прокомментировать исторический факт, чтобы связать его с предыдущими и с последующими событиями истории. При этом попытки установления причинно-следственных связей обусловили новое поле деятельности для художественной фантазии историков «второго поколения».

---

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1988. Кн. I. Предисловие. С. XIII.

Как уже было сказано выше, летописная манера повествования переосмысливалась или приводилась в соответствие с запросами читателей XVIII века, а также эстетическими вкусами самих сочинителей. Стремление историков установить причинно-следственные связи между событиями истории было связано с тем, чтобы они продолжали создавать «монументальную историю» России, дополняя и расширяя друг друга. Однако невозможность установления этих связей из-за причин объективного характера привела историков к попыткам объяснить поступки исторических деятелей с позиций просвещенного человека второй половины XVIII века.

Так, место исторического факта заняла субъективная мотивация поступков героев истории, что привело к «додумыванию» «сходных с истиной» самого писателя поворотов истории или монологов и диалогов исторических лиц, которых наверняка не было, но, по их мнению, которые вполне могли бы быть (по Аристотелю, такое «допущение» — сфера поэзии, но не истории).

Так, например, в предисловии к первому тому «Российской истории» Ф.Эмин раскрывает читателям особенности метода историографии, которому следовал сам и которого придерживались историки «риторической школы» (И.П.Елагин, А.П.Сумароков, И.Ф.Богданович): «Для историка не довольно собрать множество повествований, и о делах прошедших уведомить общество оных собранием; ему надобно каждое минувшее действие описывать обстоятельно, находить онаго причины, и **изъяснять следствия, которыя хотя может статья, по случаю и не были, однако легко бы быть могли**»<sup>1</sup>. Подобные «допущения» распространяются также и на прямую речь исторических героев:

---

<sup>1</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1767. Т. I. Предисловие. С. L—LI. (Выделено мной. — Д.Н.)

«Но должен я всех уведомить, что многия речи, которыя в сей Истории разныя говорят лица, выдуманы; например: речь, которую говорит Гостомысл к мятущимуся народу, уговаривал оный дабы призвать Рюрика на владение ни в одном нашем Летописце не обрящется. **Но естли Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что нибудь тому подобное**, что бы взволновавшийся, гордый и ничего не рассуждающий народ мог усмирить, и привести к здравому рассуждению»<sup>1</sup>. Далее следует историческая догадка Эмина, которая представляет собой подмену исторического факта, не удовлетворяющего эстетическому чувству писателя и его представлению о «правдоподобии», вымышленной речью, которая могла бы, по мнению писателя, взволновать новгородцев: «Естли бы он так, как пишут наши Летописцы, только сказал: Мы все потеряли разум; единства не знаем; должно нам призвать из чужой земли Государя; то за **такие увещевания они бы его в куски изрубили**; (домысливание исхода событий, то есть вымышленное следствие, ведет сочинителя к домыслу причины — Д.Н.) **но конечно он** им говорил речь наполненную важными причинами и доказательствами»<sup>2</sup>.

Итак, стремление установить причинно-следственную связь между событиями истории или мотивировать поступки героев внешними обстоятельствами привело писателей-историков к тому, что они выдумывали речи исторических лиц, так как лаконичные, эмоционально невыразительные, с точки зрения писателей XVIII века, слова героев истории, приведенные Нестором или Никоном, не могли вызывать, по их мнению, тех исторических последствий, которые происходили под воздействием речей Гостомысла, Святослава, Олега, Владимира.

<sup>1</sup>Там же. С. XLX. (Выделено мной. — Д.Н.)

<sup>2</sup>Там же. (Выделено мной. — Д.Н.)

Так, например, Богданович, отвечая на критику в адрес его вольных «допущений» в прямой речи исторических героев, объясняет эту «вольность» последующими событиями, которые воспринимались писателем как последствия этой речи: «... из страницы 97 угодно было вам выписать речь, которую говорил Владимиру один старый воин, и которую вы находите неприличною ни к тогдашнему времени, ни к лицу простого воина. Если бы прочли несколько страниц подалее, то бы увидели, что не только сей старый воин и младший сын его, но весь род сего воина был произведен после в знатные чины, повимому, за их достоинства»<sup>1</sup>. Между тем, можно определенно сказать, что характер безымянного старца оказался едва ли не самым ярким и живым образом в историческом сочинении Богдановича. Речь старого воина, обращенная к князю Владимиру, в которой старец предполагает ему своего младшего сына для единоборства с печенегом, безусловно, могла растрогать чувствительных читателей и вызвать недовольство подлинных «любителей истории»: «Государь! Жизнь моя и детей моих принадлежит отечеству. Во младости моей не отрекся был сам сразиться с гордым и страшным исполином, вызывающим ныне от Россиян себе соперника; но нагбенная старость, в изнеможении сил, представляет к услугам твоим единое только усердие. Я и дети мои, служащие ныне в полках твоих, готовы сражаться с самыми ужасными чудовищами за славу и честь России...»<sup>2</sup>. В этой «речи» старца Богданович по настоящему раскрыл свои литературные возможности в ущерб исторической достоверности.

---

<sup>1</sup>Богданович И.Ф. Ответ сочинителя Исторического изображения России к его неизвестному вопрошителю // Богданович И.Ф. Сочинения. Спб., 1848. Т. II. С. 239.

<sup>2</sup>Богданович И.Ф. Историческое изображение России // Богданович. Сочинения. Спб., 1848. С. 219.

Позднее в Предисловии к «Истории государства Российского» Н.М.Карамзин сформулирует свое отношение к такого рода «вольностям» при изображении исторического характера следующим образом: «Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы»<sup>1</sup>. Подобное же мнение о монологе старого воина у Богдановича высказал в 1778 году критик истории Г.Л.Брайко, который одним из первых в рецензии использовал прием «исторической живописи» с целью продемонстрировать сочинителю нелепость недостоверного изображения «исторического предмета» на картине: «Если искуснейший живописец написал сего старика с седою бородою и бердышем в руке, в французском кафтане, в кружевных манжетах и в кошельке, похвалили ль бы его сию острую выдумку»<sup>2</sup>. Можно предположить, что критик набрасывает таким образом карикатурный портрет самого Богдановича, так как из воспоминаний И.И.Дмитриева известно, что тот «всегда был во французском кафтане, кошелек на спине, и тафтяная шляпа (кляк) под мышкою...»<sup>3</sup>.

Итак, можно сказать, что в собственноисторической литературе XVIII века возникли условия для ситуации, когда благое желание новых историографов сделать свою историю с одной стороны достоверной, с другой --- занимательной, привело к полному искажению представления о достоверности вообще, в результате чего критерий истинности в исторических

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История государства Российского. Спб., 1842. Предисловие. С.ХІІ.

<sup>2</sup>Санктпетербургский вестник. 1778. Август. С.154.

<sup>3</sup>Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. Ч.І. Кн.ІІІ. С.58.

трудах стал на равных подменяться критерием занимательности, связанным с ориентацией на читателя. Кроме того, причины смещения представлений о «вымысле» и «истине» следует искать в отсутствии основательного исторического знания, на место которого в собственноисторических сочинениях чаще всего приходил проверенный опыт литературного творчества. Это утверждение можно отнести, главным образом, к историографической деятельности русских писателей XVIII века.

Итак, рассмотрим подробнее те случаи, когда писатель-историк, ориентируясь на восприятие читателей, совершает для своего сочинения «отбор» «наиважнейших» и «наиполнейших» событий истории, руководствуясь при этом эстетическими требованиями, предъявляемым к литературным произведениям, а также собственными вкусовыми критериями. Попробуем ответить на вопрос: почему так называемый «отбор» исторических сведений, то есть, по сути, усечение исторического материала, собираемого по крупицам первыми историографами, кладется в основу творческого метода историков «риторического направления» русской историографии.

Г.-Ф.Миллер, рецензируя книгу Лакомбе «Краткая хронологическая история о северных государствах, в том числе и о России», рассматривая важную для себя проблему достоверности изображаемых в сочинении событий, делает вывод, что эта «История» полна ошибок и неточностей. Однако в конце рецензии историограф, возможно, с учетом интересов читателей, ищущих в истории не столько полезного, сколько приятного чтения, обращает внимание на «слог» и заявляет, что «История» Лакомбе «украшена изрядным красноречием», то есть тем, «чем такие сочинители иногда похвалы себе приобретают»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Ежемесячные сочинения. 1763. Май. С.466—467.

В связи с этим аспектом сочинения Лакомбе Миллер упоминает и предыдущую его работу по истории России, «о которой знающие люди тогда рассудили, что она преисполнена сладчайшими погрешностями»<sup>1</sup>.

Представляя новое сочинение французского писателя, историограф иронизирует над автором и, подмечая несамостоятельность его труда, шипит: «Мемории о Королеве Христине господином Ариенгольцом в четырех томах в четверку изданныя... служили ему (Лакомбе — Д.Н.) основанием. Из сих выбрал он, что ему к сочинению небольшой книжки в двенадцатую долю листа прилично показалось. Причем он ничего важного не пропустил, а употребил везде **приятность** в предложении, и обыкновенную свою **красоту штиля**, которая уже по прочим его сочинениям известна»<sup>2</sup>. По этой причине Миллер и рекомендует эту книгу тем, «кто для своего одного удовольствия Истории читает», а тех читателей, кто «далее осведомленным быть желает» отсылает к самим «Ариенгольцовым мемориям о королеве Христине», на которых и основывал свое повествование Лакомбе, сочиняя «свою» историю<sup>3</sup>. Иначе говоря, историограф проводит четкую границу между «риторической» «историей», созданной лишь для удовольствия «неискупенных» читателей, и историей, рассчитанной на «любителей истории», ценящих в историческом сочинении прежде всего «достоверность», а не «сладчайшие погрешности». Важно отметить, что Лакомбе «сочиняет» историческое сочинение, основывая свое повествование уже на существующем историческом труде — хронике Ариенгольца.

---

<sup>1</sup>Там же.

<sup>2</sup>Там же. С.468. (Выделено мной — Д.Н.)

<sup>3</sup>Там же.

«Прилепившись» таким образом к монументальной истории Ариенгольца, Лакомбе **выбирает** из нее самое, с его точки зрения, важное и интересное, и пишет уже «свою» «краткую хронологическую историю», расцвечивая ее в удовольствие публики «цветками красноречия» и «сладчайшими погрешностями».

Можно утверждать, что метод создания исторического сочинения, использованный Лакомбе, сближает его с русскими историками «второго поколения». Результаты воплощения этого метода у Лакомбе и, например, в сочинениях И.Богдановича и Ф.Эмина также сопоставимы: отступление от «буквы» источника и привлечение творческой фантазии сочинителя с целью написания иначе, чем в источнике или у «авторитетного историографа», привели этих авторов к искажению исторической истины, к «пробуждению вероятия», чего так опасались В.Н.Татищев и Г.-Ф.Миллер. Важным является также тот факт, что в результате своей ориентации на доступное «неискушенному» читателю изложение исторического материала историк «второго поколения», уходя от достоверного воплощения, эстетически осваивали «внеэстетический» исторический материал, содержащийся в работах Татищева, Миллера, Шербатова. Так, «выбирая» по собственному усмотрению из исторического сочинения авторитетного предшественника «наинужнейшие» и «эстетически значимые» сюжеты истории (выразительные, поучительные), историк «второго поколения» делал их предметом особого рассмотрения.

Рассмотрим подробнее как происходил «отбор» исторического материала в собственно исторических сочинениях историков «второго поколения». В связи с этим следует напомнить, что «отец риторического направления» в русской историографии М.В.Ломоносов видел отсутствие интереса к русской истории не в недостатке героев или «любопытных происшествий», но в недостатке искусства.



«В разработке исторической темы Ломоносов расходится с традицией противопоставления поэта историку, существовавшей в эстетической мысли античности (Аристотель), Западной Европы (Буало) ... Художественный вымысел Ломоносов подчинял исторической достоверности изображения подлинных деяний»<sup>1</sup>.

По словам Г.И.Бомштейна, «в трудах по филологии и истории, в произведениях поэзии и ораторского искусства Ломоносов выделяет общие задачи истории и стихотворства: популяризация героев, героических деяний, выдающихся государственных деятелей прошлого и воспитание патриотизма на примерах из национальной истории»<sup>2</sup>. Отсюда «в поэзии и ораторской прозе Ломоносова история Руси, «Российская повесть...» предстает по преимуществу в деяниях широко известных исторических лиц — Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского, Иоаннов III и IV, Пожарского — вплоть до Алексея...»<sup>3</sup>. Во «Вступлении» к «Древней Российской истории» Ломоносов отмечал, что достоверность исторического повествования «усиливает воздействие сочинения на читателя».

Однако, как уже было сказано ранее, представление о достоверности у историографов «риторической школы» соответствовали принципам теории отражения, принятой в классицизме, а именно: ничто не является прекрасным, если оно

<sup>1</sup>Бомштейн Г.И. Ломоносов и национально-историческая тема в русской литературе и искусстве // XVIII век. М.: Л., 1966. Сб.7. С.87.

<sup>2</sup>Там же. С.86.

<sup>3</sup>Там же. С.87.

не истинно, и — ничто не может быть истинным, если оно не прекрасно. Эстетический компонент, отличающий истинное от неистинного проявился не только в индивидуальной творческой манере изложения материала, которую можно определить одним словом — «краснописание», но и в факте творческого отбора исторических сюжетов для своего сочинения историками «второго и третьего поколения». При «отборе» ими использован эстетический критерий, также связанный с представлениями о прекрасном, утвердившимся в господствующей эстетике.

Г.И.Бомштейн обращает внимание на то, что в «исторических экскурсах Ломоносова-поэта принцип исторической достоверности изображения осуществляется не только в фактической точности, но и в самом **отборе фактов** (Выделено мной. — Д.Н.), в оценках, в определении смысла событий, в обобщениях, отвечающих данным исторической науки, «общему понятию» «о деяниях российских», исторической концепции писателя»<sup>1</sup>. Обращает на себя внимание, что Г.И.Бомштейн называет «отбор фактов» в числе принципов, позволяющих соблюсти историческую достоверность Ломоносову-поэту. Безусловно, следует согласиться с тем, что прежде чем отразить то или иное историческое событие в поэтическом произведении, необходимо было отобрать из всей массы «исторических деяний» наиболее выразительное, отвечающее его литературно-эстетическим принципам, а также исторически достоверное историческое событие. Вместе с тем, сам подход Ломоносова-историка к истории России как к своду героических деяний выдающихся государственных деятелей прошлого уже предопределил применение им творческого метода «отбора» при

---

<sup>1</sup> Там же. С.88.

создании исторического сочинения<sup>1</sup>.

Необходимо отметить, что вслед за Ломоносовым историки «второго поколения» (Ф.Эмин, И.Елагин), создавая монументальный труд по истории России, чрезвычайно важное значение придавали эстетическому критерию при отборе достоверных сведений от недостоверных, то есть историческая реальность подвергается эстетической проверке с целью очистить ее от «внеэстетических» и поэтому уже «недостоверных сведений». Под «недостоверными», потому уже «внеэстетическими» сведениями подразумевались летописные рассказы, имеющие эпическое происхождение и события, не отвечающие представлениям истории о «правдоподобном» и «прекрасном».

Ф.Эмин, претендуя на роль продолжателя дела Татищева по составлению полной истории России, ориентируясь на читателей и эстетически осваивая исторический материал, представленный как в летописях, так и у предшественников, вынужден был «выбирать». При этом, Эмин, например, руководствовался критериями эстетического порядка, так для него, например, было

---

<sup>1</sup>Необходимо вспомнить, что «отбор» исторических сюжетов для произведений искусства (архитектуры, скульптуры, живописи) объединяет два программных выступления М.В.Ломоносова и Н.М.Карамзина, «сделанных ими независимо друг от друга» («Идеи для живописных картин из русской истории» (1764) Ломоносова и «О случаях и характере в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802) Карамзина), «служат лучшим доказательством общей направленности их рассуждений об эстетическом смысле истории», тем не менее это два художественных восприятия. См.: Карлова Т.С. Эстетический смысл истории в творческом восприятии Карамзина / XVIII век. Л., 1969. Сб.8. С.283.

неприемлемо допускать в свое сочинение описание некоторых «обычаев и нравов» древних славян, некоторые были, по его мнению, «лишь мерзостью в невежестве погруженного народа»<sup>1</sup>. Свою задачу писатель видит в сличении множества разных списков, чтобы «праведные повествования отделять от неосновательных», «каждого историка счислять летописание, несогласия и уравнивать, **находить оных причины, из оных выводить истину**»<sup>2</sup>.

Боясь «набавить тьму сказок», Эмин придерживался собственного представления о «достоверном» или «недостоверном» в истории, руководствуясь, главным образом, эстетическими критериями. Пользуясь всевозможными документами, Эмин сталкивался, по его словам, и с «площадными» списками, «в которых часто, если не очевидная вещь, то по крайней мере тень оная обрящется, **кою здравым рассуждением** (самого автора — Д.Н.) **расчистя** можно будет и важность дела увидеть»<sup>3</sup>. Другими словами, сделать из «внеэстетического» материала эстетически значимый, зависело не только от «красноречия» писателя, но и от его правильного «выбора».

Одним из таких «площадных» списков, по мнению Эмина, был Никонов список, наполненный «грубым суеверием, несправедливым описанием действий Греческих Царей, и разными больше смешными, нежели удивительными приключениями множественных колдунов и волшебниц». Эмин упрекает издателя Никоновской летописи А.Шлецера в том, что «онный Никоновский список... **от басен не очистил**, и на толь многие темы разложил».

<sup>1</sup>Ф.Эмин. Российская история. Спб. 1767. Кн.І. С.17.

<sup>2</sup>Там же. Предисловие. С.ХІ. (Выделено мной. — Д.Н.)

<sup>3</sup>Там же. С.ХІ.

Утверждая, что «Никонов список» полон «басен», Эмин апеллирует к самолюбию просвещенных читателей. Он считает, что сто лет назад «наши купцы да и прочие такую бы книгу расцеловали; но ныне наш народ в просвещении со всеми прочими равняется, и потому такими баснями какими наполнен Никонов список, **нас прельстить не можно**». В то же время писатель признает, что «очень много найдется в свете людей, ребяческие мысли имеющих, которым великолепно рассказанные басни нравятся». Но Эмин относится к другой категории читателей и оценивает «уровень» баснословия в «Никоновом списке» с позиции не историка, а просвещенного читателя, для которого миф неприемлем хотя бы уже потому, что возник в народе, «погруженном в невежестве».

Так, под достоверными сведениями подразумевались те, которые могли быть в действительности. Эти «факты» появились в произведениях И.Ф.Богдановича, Ф.Эмина, И.П.Елагина и свидетельствовали о том, что на место правдивому («достоверному») в историографической прозе приходит «правдоподобное», которое подразумевало «облагороженное сходство с правдой» (Мармонтель). А поскольку классицисты различали то, что действительно произошло, и то, что могло произойти и последнее вслед за Аристотелем относили к сфере поэзии, то можно с уверенностью говорить, что поэтическое «правдоподобие», понятое как «сходство вымысла с тем, что может случиться в действительности» (Готшед), становится основным принципом в изображении «исторических» событий историками «второго поколения». Эти «новоизобретенные» события, речи героев не соответствовали татищевскому, собственноисторическому представлению об исторической правде, но зато отвечали представлению писателей, прикоснувшихся к истории об «историческом правдоподобии».

Так, Богданович, основываясь на сочинении Шербатова, преследовал уже иные цели, чем были у первых историков. И.Ф.Богданович в Предисловии к своему сочинению заявил, что его не интересует, например, «чем провинились древлянские послы, которым велено было ночевать на реке в ладьях, а на другой день придворным нести их с ладьями на головах и после бросить в глубокую яму...»<sup>1</sup>. Таким образом Богданович избавляется от «неправдоподобных» подробностей и деталей происшествия, однако упоминает о самом факте мести княгини Ольги древлянам, как об исторической данности, тем самым полностью развенчивая природу чудесного в летописном предании: «Между тем, мстя Древлянам разными образами, пошла в самом деле к ним с войском»<sup>2</sup>.

С одной стороны, Богданович избегает «баснословий» и преданий, способных украсить его труд, а с другой — рассказывает о смерти князя Олега, как о событии бывшем в действительности, при этом опуская такую «подробность», происшедшую раньше, как предсказание волхвов. В результате писатель самостоятельно вносит в повествование элемент случайности и легенда о смерти князя Олега приобретает бытовую мотивировку, становясь заурядным фактом: «Олег получает «печальную смерть от мертвой головной лошадиной кости, которую он, идучи мимо, толкнул ногою и тут в ногу был ужален змеею, изскочившею изнутри сей головы, где она таилась»<sup>3</sup>. Очевидно, что такое изложение искажало историческое свидетельство. Даже у М.М.Шербатова — рационалиста и прагматика — полностью приводится это летописное предание, как и рассказ о хитростях княгини Ольги, и другие «баснословия», сопровождаемые историческими комментариями для историка.

<sup>1</sup>Богданович И.Ф. Сочинения. Т. II. С.152.

<sup>2</sup>Там же. С.174.

<sup>3</sup>Там же. С.169.

Еще несколько примеров, свидетельствующих о представлениях Богдановича об историческом правдоподобии: у Богдановича князь Владимир во время крещения «очищается» от слепоты душевной (Щербатов, основываясь на летописи, говорит о слепоте физической); Изяслав у Богдановича становится старше и сам способен принять решение защитить свою мать Рогнеду—Гориславу от князя Владимира (в летописи малолетний Изяслав используется Рогнедой, дабы смягчить сердце отца своего).

Таким образом, в ущерб не только исторической точности, но и художественности, эмоционального повествования Богданович не столько осуществляет «отбор» «справедливых» описаний от «невероятных и маловажных», сколько расправляется по своему усмотрению с летописными мифами, «сжижая» их до бытовой детерминации и развенчивая природу чудесного, сокращая сами поэтические «подробности», без которых эти предания выглядят в тексте неубедительно и нелепо.

Так же нелепо, например, у И.П.Елагина звучит объяснение, почему невероятным представляется ему поджог древлянского городка «тремя воробьями» и «тремя голубями» с каждого двора, которых в качестве дани потребовала Ольга с древлян, а потом, привязав к их ногам горящую смолу, отпустила, и они, вернувшись, подожгли свои дома и весь город. Возмущению Елагина нет предела: «Что может нелепости басни сея уподобить? И как Писатели наши могли себе позволить, такими народного предания сказками затмевать истину деяний, и освятить оныя помещением в житии Святых? Для того кажется, чтоб и мы, им последующие, не дерзнули исторгнуть их из повествования о России»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Елагин И.П. Опыт повествования о России. М., 1803. Кн. I. С.259.



Елагин тоже не решается «исторгнуть» приведенное в летописи и у В.Н.Татищева предание из своего исторического «Опыта», однако, так же как и Богданович, пытается развенчать его чудесную природу. По мнению Елагина, птицы не смогли долететь до своих домов, так как испытывали боль и страх, и для большей убедительности Елагин в сноске доверительно сообщает читателям: «Мне самому случалось опыта такого над воронами быть свидетелем. Привязанный к их ногам огонь понуждал птицу, крутясь, вознестись на высоту, и упасть почти на то же место откуда пущена была»<sup>1</sup>. Этот анекдотический пример свидетельствует об отношении писателей-историков к историческому мифу как к досадному недоразумению, воплещему из-за невежества наших предков в летописи и некритически переписанному историками XVIII века.

Ф.А.Эмин в Предисловии к своей «Истории» не раз оговаривался, что он «таких странных повествований убеждать старался», однако не исключал того, что «очень много найдется в свете людей ребяческие мысли имеющих, которым великолепно рассказанные басни нравятся»<sup>1</sup>. Поэтому всеми силами стараясь «не набаять тьму сказок», тщательно отбирал материал, а там, где это не представлялось возможным, искажал смысл летописных преданий, а иногда использовал так же как Богданович и Елагин, способ бытовой мотивации летописных «чудес». Например, так Эмин, повествуя о чудесном исцелении князя Владимира, подменяет причину двух исторических фактов: потерю зрения и обретение зрения князем Владимиром: «Может статья безсоние тому было причиною; ибо Владимир чрезмерно будучи склонен к женскому полу, и размышляя о красоте Паревны, которую ему Послы его описали с великим его удовольствием, не спал несколько ночей, зная о приближении

---

<sup>1</sup>Там же.

<sup>2</sup>Эмин Ф. Указ. соч. Т.1. Предисловие. С.XX.



своей невесты. От бессония обыкновенно случается, что глаза пухнут и возгораются. Потом от радости по прибытии в его дворец Царевны, может быть Владимир сверх обыкновенного повеселился напитками что боление его глаз умножило»<sup>1</sup>. Выздоровление Владимира произошло также, по мнению писателя, «от естественного случая», а именно: «Царевна... приказала его пользоваться своим искусным лекарем. Болезнь Владимира отвращена была, и он выздоровев крестился»<sup>2</sup>. Кроме того, Эмин полемизирует с Ломоносовым и Летописцами по поводу чудесной победы Мстислава над Редедой: «... а думать надлежит, что Мстислав заколол Редеду по случаю, а не силою чудотворения Господня»<sup>3</sup>.

Попытка «объяснить» летописное сказание с точки зрения его «вероятности» встречается и у Н.М.Карамзина в «Истории государства Российского». Повествуя о легендарной осаде князем Олегом Константинополя, историк не может удержаться от комментария, развенчивающего сказочность летописного рассказа: «В летописи сказано, что Олег поставил суда свои на колеса и силою одного ветра, на распушенных парусах, сухим путем шел с флотом к Константинополю. Может быть, он хотел сделать то же, что сделал после Магомед II: велел воинам тащить суда в гавань, чтобы приступить к стенам городским; а баснословие вымыслив действие парусов на сухом пути.

---

<sup>1</sup>Там же. Т.I. С.333.

<sup>2</sup>Там же. С.333.

<sup>3</sup>Там же. С.397. Невозможность объяснить события не иначе как «случайностью» — это способ, пришедший на смену поиску причинно-следственной связи в пределах самого исторического материала.

обратило трудное, но возможное дело в чудесное и невероятное»<sup>1</sup>. Снижая сказочный пафос предания, Карамзин «миф» «превращает» в «фантастическую историю».

Если И.Ф.Богданович не претендовал на роль историка и писал «сокращенную» историю, то И.П.Елагин и Ф.А.Эмин **старались прослыть историками** и написать монументальный труд по истории России, однако этих историков объединяет следование классическому представлению «о правдоподобии» как о подражании натуре. Очевидно, что это один из принципов искусства, а не науки. Поэтому, заботясь о том, чтобы представить «правдоподобное правдоподобным», а «справедливое справедливым», писатели «вместе с водой часто выплескивали и ребенка», в результате чего становились объектом жесточайшей критики нового поколения «любителей истории», которые воспитывались на уважительном отношении к летописному слову.

В статье 1803 года «О Богдановиче и его сочинениях», вызванной смертью писателя, Н.М.Карамзин, подробно анализируя поэму «Душенька», не оставляет без внимания и другие произведения И.Ф.Богдановича: «Правда, что Богданович еще писал, но мало, или с небрежением, как будто бы нехотя, или в дремоте Гения. Иной сказал бы, что Поэт, любя свою Душеньку хотел оставить ей честь быть единственным изящным творением его таланта»<sup>2</sup>. «Иной сказал бы...», но не Карамзин, который сразу же дает лаконичную характеристику историческому произведению Богдановича:

---

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1. Гл.V. С.80.

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. О Богдановиче и его сочинениях // Карамзин Н.М. Сочинения. Спб.: Изд. А.Смирдина. 1848. Т.1. С.641.

«От 1775 до 1789 году он сочинил Историческое изображение России, часть I (**опыт легкий, несовершенный, но довольно приятный**)...»<sup>1</sup>. Внимание писателя к этому произведению Богдановича не случайно: Карамзин еще до 1803 года проявлял интерес к историческим сочинениям, готовясь к своему будущему труду. Однако в немногочисленных дошедших до нас исторических документах и письмах Карамзина 1770—1790-х годов, где он отмечает произведения не только известных авторов, нет упоминаний о Богдановиче и его трудах. И только в 1803 году, после смерти Богдановича, Карамзин обращается к брату покойного и людям, хорошо знавшим писателя, с просьбой предоставить ему материалы для написания посмертной статьи о Богдановиче. Чтобы написать столь подробный очерк о жизни и творчестве писателя, Карамзину пришлось обратиться к его трудам, среди которых было и «Историческое изображение России». В результате появляется приведенная выше оценка этого произведения, характеризующая не только труд Богдановича, но и взгляд Карамзина на исторические сочинения вообще. И поэтому не случайно то, что подобная оценка исторического опыта Богдановича появилась в 1803 году, когда Карамзин принимает решение и «записывается в историки» (Н.Я. Эйдедльман), не переставая, однако, быть писателем.

<sup>1</sup>Там же. С.641. (Выделено мной — Д.Н.)

В опубликованной Карамзиным в «Московском журнале» немецкой рецензии на книгу Ж.-Ж.Бартеlemi «Путешествие Анахарсиса» Карамзин «сокращает прежде всего те фразы, где рецензент хвалил Бартеlemi за бережное отношение к исторической истине, за тщательное использование исторических источников и т.д.». По словам Ю.М.Лотмана, «для русского писателя в этот период важнее другое достоинство книги Бартеlemi — приятность, занимательность. Слово «приятный» у Карамзина употребляется гораздо чаще, чем у немецкого рецензента». См.: Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М.Карамзина (1789—1803)//Уч. зап. Тартуского гос.ун-та. Тарту, 1957. Вып.51. С.139.

И.З.Серман, характеризуя позицию Богдановича как историка, ставит его взгляд в прямую зависимость от французской чисто беллетристической историографии начала XVIII века, а именно от сочинений аббата Верто, славившегося красочностью и живостью описаний и эпизодов. Далее И.З.Серман утверждает, что Богданович «применил манеру Верто к изображению Киевской Руси»<sup>1</sup>. Действительно, как только Богданович заканчивает переводить «Историю о бывших переменах в Римской республике» (1771—1775) Верто, он сразу начинает писать свое «Историческое изображение», избрав самый «темный» и затруднительный для писателя и историка период — Древнюю Русь, о которой «надежных фактов мало, первые века Киевской Руси во мгле — зато немногие древние легенды тянут в «омут», к повести, поэме...»<sup>2</sup>.

Что же предпринимает начинающий историк, чтобы его не затянуло в привычный для «певца Душеньки» «омут»? Богданович, прежде всего, совершает по своему усмотрению **отбор** «наиважнейших и наиболее полезных предметов», «оставляя же все невероятные или маловажные описания и сокращая летопись...», выполняя тем самым «свойственное людям желание получать легчайшим образом нужные сведения и отвергать все то, что бесполезно обременяет память их»<sup>3</sup>. Обращает на себя внимание тот факт, что Богданович кривит душою, когда говорит о том, что «выбирал» из самой летописи. Дело в том, что Богданович, следуя традиции «историографов «второго поколения», не затруднял себя работой с архивными материалами.

<sup>1</sup>Серман И.З. И.Ф.Богданович // Богданович И.Ф. Стихотворения и поэмы. Л., 1957. С.23.

<sup>2</sup>Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 1983. С.51.

<sup>3</sup>Богданович И.Ф. Историческое изображение России // Богданович И.Ф. Сочинения. Спб., 1848. Т.2. С.152.

В качестве основного источника он использовал «Историю Российскую» М.М.Щербатова, и, соответственно, сокращал не сами летописи, а их изложение М.М.Щербатовым. Предпринятое им сокращенное изложение «Истории Российской» Щербатова было призвано прежде всего угодить вкусам «неискушенных» читателей.

И.Ф.Богданович, предупреждая возможные нападки на свою «Историю» со стороны «любителей истории», сообщает читателям в «Предисловии от сочинителя», что упрощение книги «сколь можно» не предполагает «изъяснений на разные места исторические». По этой причине писатель «не делает ссылок на писателей, принимаемых в основание: ибо все таковые ссылки находятся уже в Российской истории трудолюбивого князя Михайла Михайловича Щербатова»<sup>1</sup>.

Итак, угодив «неискушенному» в чтении «древних хартий» читателю и ценителю красивого «слога», писатель не мог угодить исторической критике. На примере «Исторического изображения России» Богдановича можно проследить, как изменяются у историков «второго поколения» собственноисторические задачи на литературные. В то же время историки «второго поколения» продолжали критиковаться современниками и как историки, и как литераторы. Такая же критика сопровождала и «Историю» Н.М.Карамзина, но только с добавлением критики его как политического деятеля.

Редактируемый И.Ф.Богдановичем журнал «Собрания новостей» (1775—1776) был первым в России универсальным журналом, предназначенным для широкого круга образованных

---

<sup>1</sup>Богданович И.Ф. Историческое изображение России // Богданович И.Ф. Сочинения. СПб., 1848. С.154.

читателей, где «ввел как новинку для русской журналистики своего времени постоянный отдел критических рецензий на новые книги»<sup>1</sup>.

По мнению И.З.Сермана, «до «Собрания новостей» такого отдела не было ни в одном журнале, и вводя его, Богданович еще раз показал себя писателем, живо откликающимся на новые потребности русских читателей»<sup>2</sup>. Безусловно, что ориентация Богдановича на вкусы и потребности широкого читателя и определила его обращение к исторической теме, с целью познакомить с историей тех читателей, кто не был искушен в чтении трудов Татищева, Ломоносова, Шербатова.

Таким образом, Богданович, не меняя своего писательского «амплуа», и не претендуя на «амплуа» историка, обратился к исторической теме, чтобы принести пользу рядовым читателям и доставить им удовольствие от чтения исторического сочинения.

Вводя в «Собрание новостей» с 1775 года, и в «Санктпетербургские ведомости» критический отдел, Богданович не предполагал, что объектом критического рассмотрения явится его исторический опыт и что эта критика в результате «отвратит» его от «авторства», и первая часть «Исторического изображения» останется последней. Главным оппонентом Богдановича выступил его бывший сотрудник по «Собранию новостей» дипломат, журналист, историк Г.Л.Брайко. Следует обратить внимание на то, что Брайко формировался как историк под влиянием М.М.Шербатова, так как служил под его началом переводчиком в архиве документов Петра Великого.

<sup>1</sup>Серман И.З. И.Ф.Богданович — журналист и критик // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб.4. С.100.

<sup>2</sup>Там же. С.100.

Вспомним, что некоторые «любители истории» (А.П.Сумароков, П.И.Рычков) прежде чем вступить на историческое поприще, находились под патронажем историков «первого поколения». Работа с архивными документами и предопределила уважительное отношение Брайко к историческим источникам<sup>1</sup>.

В результате этой работы над архивами Петра I, Брайко принял участие в издании писем и распоряжений Петра I за 1704—1706 гг. с предисловием и примечаниями М.М.Щербатова, вышедших в 1774 году.

Почему же справедливая критика знатока русской истории Г.Л.Брайко так больно ранила автора «Исторического изображения России»? Историки «второго поколения» критиковали своих предшественников именно за то, что их сочинения были «малодоступны» для этих читателей. Учитывая эстетические требования времени, они подвергали не исторической, а литературной критике не Нестора или Никона, а В.Н.Татищева, М.М.Щербатова, М.В.Ломоносова. Богданович не претендовал на роль историка, и оставался в своем сочинении писателем, а критиковали его как историка. Ф.Эмин, А.П.Сумароков, И.П.Елагин, оставаясь писателями, все-таки претендовали на роль историков, но также были критикуемы как историки. Происходило это потому, что литературные задачи преобладали в историческом творчестве этого поколения историков. Только один признавался в этом, как Богданович, а другие продолжали декларировать свою приверженность «татищевской школе».

---

<sup>1</sup>О Г.Л.Брайко см.: Мартынов И.Ф. Журналист, историк и дипломат XVIII века Григорий Леонтьевич Брайко / XVIII век. Л., 1977. Сб. 12. С.225—242.



Можно предположить, что в историографии дихотомия художественного и научно-познавательного проходила на уровне сознания самих историков «второго поколения», которые в отличие от историков «первого поколения» имели иные ценностные ориентации: их интересовала не сама история как предмет исследования, а собственный их творческий опыт, соответствующий требованиям господствующей литературной эстетики и реакция на него рядового читателя и критики. Поэтому вопросы исторической достоверности, вернее, «правдоподобия», рассматривались историками из писательской среды как гарант «эстетического» и потому уже «любопытного» и «привлекательного» для читателя исторического действия. Поэтому историческая критика сочинений Эмина, Елагина, Богдановича, Сумарокова как серьезных собственноисторических трудов была столь пугающей для их авторского самолюбия и каждый раз встречалась ими в штыки.

Брайко, работая с историческими источниками, безусловно, имел представление о «критике текста», источника, которую методологически обосновал еще А.Шлецер, осуществивший «очищение летописи Нестора». Принципы «критического издания текста» источника сближались с текстологическими принципами. «Да не скажет никто, что я похитил себе честь быть первым издателем Нестора», — писал А.Шлецер, — «я говорю только о критическом, ученом, искусном истолкованном издании, которое могло бы представить сочинителя в его настоящем виде, очистив его от крупнейших описок, объяснить, где он темен, исправить, где ошибается»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Шлецер А. Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Шлецером. Спб. 1809. С.4.



Особенно критический подход требовался к тому памятнику, который прошел многочисленные переписки, поэтому ошибки летописцев исправляли В.Н.Татищев, И.С.Барков и М.В.Ломоносов при подготовке Кенигсбергской летописи, Г.—Ф.Миллер, Н.И.Новиков при издании исторических источников в «Древней российской вивлиофике»<sup>1</sup>. Однако следование «букве» источника не было делом Богдановича уже потому, что у него были другие задачи и он обращался не к первоисточнику, а к сочинению Щербатова. Брайко, пытаясь уличить Богдановича в искажении исторической истины, сопоставляет некоторые факты, сокращенные или, наоборот, додуманные писателем, с текстом летописи и находит расхождения, повторения и требует для их доказательств «привлечь Нестора» (по вопросу о призвании Рюрика).

Г.Л.Брайко, вероятно, представлял себе тех читателей, на которых рассчитывал свой труд Богданович, а именно: «многих, желающих приобрести общее понятие о Истории своего отечества, не имея ни времени или охоты к чтению старинных Русских летописей и других пространных исторических книг», в том числе «книг» Ломоносова, Татищева, Щербатова, Эмина<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>О «критике текста» источника в историографии XVIII века, см.: Болтин И.Н. Критические замечания генерал-майора Болтина на первый том «Истории» князя Щербатова. Спб., 1793.

Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С.112—117.

Шанский Л.М. Из истории русской исторической мысли. И.Н.Болтин. М., 1983.

<sup>2</sup>Санктпетербургский вестник. Спб., 1778. II часть. Июль. С.56.

Брайко в своей критической статье оценивает сочинения этих историков с позиции именно такого рядового читателя, таким образом как бы отстраняясь от приведенной точки зрения: «...История князя Щербатова **для многих читателей** весьма пространною кажется; Емина же и Татищева, по **рассуждению знатоков**, писаны от части не чистым, от части нашему веку не приличным слогом...»<sup>1</sup>.

Итог, который подводит, вероятно, уже Брайко-историк, неутешителен: «... итак, не имеем мы до ныне основательной и приятностию слога пленяющей, отечества нашего Истории, которая бы совершенно **очищена была от бесполезных, маловажных и невероятных сказаний, царствующих в древних летописях, коя бы справедливое справедливим, правдоподобное правдоподобным и сомнительное сомнительным** представляя сохраняла при том в течение повествования чистой, плавный, сильный и приятный российский слог»<sup>2</sup>.

В «Историческом изображении России» Богдановича критик находит «изрядным» один лишь слог<sup>3</sup>, а содержание сочинения подвергает суровому разбору: Брайко скрупулезно изучает изложение самых сложных эпизодов из древней истории России (например, эпизод о «призвании на княжение» Рюрика или о сватовстве императора Константина к княгине Ольге) у Богдановича и «сличает «версию» писателя с тем, как эти же эпизоды представлены у Нестора и М.В.Ломоносова, и в

---

<sup>1</sup>Там же. С.56. (Выделено мной. — Д.П.)

Как уже отмечалось нами ранее, подобное «распадение» критических оценок, исходящих от одного лица на читательскую и писательскую являлось традиционной в русской историографии второй половины XVIII века.

<sup>2</sup>Там же. С.57.

<sup>3</sup>Там же. С.57.

результате упрекает Богдановича в искажении исторических фактов. Очевидно, что писатель подвергается столь серьезной критике как историк в связи с тем, что его отношение к воплощению исторического материала далеко от представлений первых историографов.

И.Ф.Богданович, чье «уязвленное самолюбие» не позволило бы оставить «выпад» Брайко без ответа, парирует критику: «Но как сии **подробности** не входят в план моего «Исторического изображения», которые есть простое повествование самонужнейших вещей к сведению, то вы могли бы легко удовольствоваться ваше любопытство чтением Российской истории почтенного нашего историка князя Михайлы Михайловича Щербатова, который не упустил представить **справедливое справедливым, и сомнительное сомнительным**, хотя вы и жалуетесь, что мы доньше не имеем основательной Российской истории»<sup>1</sup>.

Характерно, что Богданович открыто указывает на источник своего сочинения, вероятно, с целью разграничить сферы влияния собственноисторической литературы и нарождающейся художественной на историческую тему.

Однако критик и историк Брайко упрекает сочинителя именно за эту его «несамостоятельность»: «... И мы конечно знаем, что разбирать старья бумаги, и приводить содержащиеся в оных делах в связь историческую есть совсем другого рода заслуга и не сравненный труд — но из разобранного и в порядок приведенного выписывать сократительно и выписанное разного рода цветками украсить, есть совсем другое дело»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Богданович И.Ф. Ответ сочинителя исторического изображения России к его неизвестному вопросителю // Богданович И.Ф. Сочинения. Спб., 1848. Т.2. С.234—235.

<sup>2</sup>Санктпетербургский вестник. 1778. Август. С.149.

Таким образом, литературные задачи Богдановича не принимались во внимание исторической критикой, т.к. писатель продолжал «творить» в рамках собственноисторического жанра. Даже указание в названии, что это всего лишь «изображение», т.е. в основе исторического повествования может лежать не сам факт, а его художественное воплощение, не помогло Богдановичу уберечься от суровой критики историка «щербатовской школы» Г.Брайко. Важно отметить, что критика Брайко, как и Карамзина, ведется одновременно с двух позиций: неискушенного читателя и историка, последователя первых «историографов».

Оценка Карамзиным исторического сочинения Богдановича («опыт легкий, не совершенный, но довольно приятный»), на наш взгляд, синтезирует три точки зрения, и два одновременных взгляда Карамзина на художественное воплощение истории. Опыт «легкий» — Карамзин высказывался с позиции рядового читателя; «не совершенный» — здесь ощущается мнение историка, который в 1803 году отдаст предпочтение историческому факту перед мифом, и, наконец, опыт «приятный» — эта оценка, скорее всего, дана писателем, «записавшимся в историографы», но не переставшим быть писателем, для которого не только «миф воспринимался как порождение своей эпохи», но и «трогательные речи» исторических героев, выдуманные Богдановичем, могли восприниматься как «портрет души и сердца» самого писателя. Характерно, что слово «приятный» станет ключевым словом при оценке исторических сочинений как самими историками, так и их критиками. Со второй четверти XVIII столетия, когда на смену оценочным критериям, связанной с эстетикой классицизма, придут эстетические критерии сентиментализма и предромантизма, эта оценка во многом определит общую ориентацию литературы не столько «на пользу», сколько на «удовольствие» читателей.

Итак, можно сказать, «выбор» как привилегия писателя-беллетриста имел место при подходе Н.М.Карамзина к историческому материалу до 1803 года и тесно связан с интересом писателя к мифу. Стремление вычлениить наиболее выразительные с художественной точки зрения сюжеты истории (в том числе и мифы), или «одушевить» кистью художника «внеэстетические» легло в основу карамзинского метода создания исторического сочинения. Еще в «Письмах русского путешественника», критически оценивая «Российскую историю» Левека, Карамзин высказывает распространенное еще со времен М.В.Ломоносова мнение о том, что в России до сих пор нет «хорошей Российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием» и потому называет среди возможных образцов для подражания только Тацита, Юма, Робертсона, Гиббона»<sup>1</sup>.

Вслед за историками «риторического направления» XVIII века Карамзин не считает, что «наша история сама по себе менее других значительна», по его мнению, «нужен только ум, вкус, талант»<sup>2</sup>. «Можно **выбрать, одушевить, раскрасить**; и читатель уливнётся, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только Русских, но и чужестранцов»<sup>3</sup>.

Далее Карамзин как бы разъясняет смысл творческого «отбора» исторического материала: «Родословная Князей, их ссоры, междоусобие, набеги Половцев, не очень любопытны: соглашаюсь; но за чем наполнять ими целые томы? Что не важно, то **сократить**, как сделал Юм в Английской Истории; но

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С.252.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Там же. (Выделено мной. — Д.Н.)

все черты, которые означают свойство народа Русского, характер древних наших Героев, отменных людей, происшествия действительно любопытныя описать живо, разительно»<sup>1</sup>.

И.Ф.Богданович именно «сокращает» историю России (или, вернее, «Историю» М.М.Щербатова), чтобы читатель «облегченным образом» получил «наиважнейшие» сведения об Истории Отечества. Оценка, данная Карамзиным историческому опыту Богдановича как «легкому», могла быть сделана писателем с позиции такого «неискушенного» в чтении «древних хартий» читателя, чей литературный вкус воспитывался на слоге «Душеньки».

Можно сказать, что оценка исторических сочинений В.Н.Татищева и И.Ф.Богдановича как с позиции писателя, так и с позиции читателя для Карамзина имеет принципиальное значение. Как писатель, решивший «записаться в историографы», он «примеряет на себя одежды» предполагаемого читателя — «культурной личности», которой, возможно, «еще в жизни не было», но могла составить основу той аудитории, которую Карамзин, по словам Ю.М.Лотмана, «еще предстояло создать»<sup>2</sup>. Безусловно, что «Карамзин был высочайшим мастером популяризации» и, «стремясь возможно расширить границы своей аудитории, он одновременно сохранял высокий уровень идей, умение не опускаться до читателя, а поднимать его до себя»<sup>3</sup>. Имея в виду эту установку на «создание» своего читателя, можно предположить, что в оценке исторического труда В.Н.Татищева («Мнь» (читатели — Д.Н.) охотно идем за ним (историком — Д.Н.) во мрак давно

<sup>1</sup> Там же. С.253. (Выделено мной. — Д.Н.)

<sup>2</sup> Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С.230.

<sup>3</sup> Там же. С.231

прошедших веков, если факел его светит перед нами ясно»)<sup>1</sup>, а также И.Ф.Богдановича Карамзин еще раз подтверждает свое звание «высочайшего мастера популяризации» и, добавим, человека, который смотрит вперед и пытается не только рассмотреть, но и сформировать будущую аудиторию своего еще не написанного исторического сочинения.

Таким образом, историки «второго поколения» считали, что летописные баснословия (например, о смерти князя Олега, о мщении княгини Ольги древлянам и т.д.) надо либо предавать забвению, то есть не включать в историческое повествование, так как они, по их мнению, отражали «варварские нравы и обычаи древних народов», либо с просвещенной точки зрения самого сочинителя объяснять или, скорее, развенчивать сказочную природу этих мифов. Надо сказать, что такое отношение к мифу и такой критерий «отбора» был уже неприемлем для Н.М.Карамзина, написавшего в 1803 году: «Не все то любопытно, что хорошо: за то многое любопытно, что и нельзя назвать хорошим. Пусть мы умнее своих предков, пусть нам нечего занять от них; но самое просвещение делает ум любопытным; хочется знать старину, какова ни была она, даже и чужую, а своя еще милее»<sup>2</sup>. А когда Карамзин приступил к написанию «Истории государства Российского» и обратился к древнему периоду русской истории, то имеющиеся исторические источники просто не позволили историографу пользоваться правом «выбора»: «Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимым; тем менее выбирал, ибо не бедные, а богатые избирают»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Пантеон российских авторов. С.164.

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. Исторические воспоминация и замечания по пути к Троице//Карамзин Н.М. Сочинения. Сиб., 1848. Т.1. С.460.

<sup>3</sup>Карамзин Н.М. История. Предисловие. С.ХІІІ.

Ю.М.Лотман, анализируя взгляды Н.М.Карамзина в 1802—1803 годах, говорит о новой тенденции в творчестве писателя: «предпочтение не мифа, а исторического факта», и в то же время «миф не опровергается, но отношение к нему становится принципиально иным: сам миф воспринимается как порождение своей эпохи»<sup>1</sup>. Именно по этой причине Карамзин повторяет в «Истории» и «Нестеровы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных», с оговоркой «Здесь летописец сообщает нам многия подробности, отчасти не согласныя ни с вероятностями рассудка, ни с важностию истории, и взятые без всякого сомнения, из народной сказки; но как истинное происшествие должно быть их основанием, и самыя басни древняя любопытны для ума внимательного, изображая обычай и дух времен...»<sup>2</sup>.

Так, освобождаясь от творческого «выбора» и «творя из данного вещества», то есть, возвращаясь к летописному источнику, Карамзин создал историческое сочинение, в основе которого, по словам Л.Н.Лузячиной, лежит «синтез логики факта и эмоционального образа «минувших столетий»<sup>3</sup>. Однако писатель пришел к этому через осознание дихотомии мифологии и истории. Причём, по мнению Ю.М.Лотмана, в 90-е годы он «отдает предпочтение мифу перед историей» и «относится к отечественному прошлому прежде всего как к источнику, питающему авторскую фантазию»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М.Карамзина (1789—1803)//Уч.зап.Тартуского ун-та. 1957. Вып.51. С.149.

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. История государства Российского. Предисловие. Т.1. Гл.VII. С.97.

<sup>3</sup>Лузячина Л.Н. Принципы художественного повествования в «Истории государства Российского»/История русской литературы. Л., 1981. Т.2. С.817.

<sup>4</sup>Лотман Ю.М. Там же. С.138, 141.



Его как писателя-беллетриста более всего привлекает в мифе «поэтическая сторона»<sup>1</sup>.

Вместе с тем, предполагая, что «истинное происшествие должно быть» основанием летописных сказаний о мести княгини Ольги древлянам или об осаде Константинополя Олегом, Н.М.Карамзин как бы «помогает» мифу превратиться в исторический факт, в ущерб его «поэтической стороне» и обнаружить гипотетическим путем его исторически возможную сущность.

Таким образом, если в 90-е годы, по словам Ю.М.Лотмана, Карамзина «привлекала поэтическая сторона мифа»<sup>2</sup>, то в период работы над первыми томами «Истории...» Карамзин так или иначе развенчивает чудесную природу каждого из летописных сказаний, в ущерб именно «поэтической стороне». В этом, на наш взгляд, и заключается причина того, что в первых томах «Истории государства Российского» повествование ведется на двух «самостоятельных и самоценных уровнях»: «летописном», предполагающим наивный и простодушный взгляд на вещи, и собственно историческом, как комментирующем «летописный»<sup>3</sup>. Карамзин в своем стремлении обнажить факт, скрытый под позднейшими эпическими напластовываниями, лишает велед за Ломоносовым, Богдановичем, Благиным, Эминным летописное сказание его поэтической прелести.

<sup>1</sup>Там же. С.139.

<sup>2</sup>Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М.Карамзина (1789—1803). С.138.

<sup>3</sup>Лузяпина Л.Н. Проблемы историзма в творчестве Карамзина — автора «Истории государства Российского» // XVIII. Л., 1989. Сб.16. С.162.

В то же время отношение предшественников Карамзина к мифу имело и другую сторону. Высказывая свою версию того, почему Владимир усыновил Святополка, Елагин, чтобы представить свою догадку более убедительной, использует историческую аналогию: «Часто и великие люди в непростительных впадают слабости и пороки, заразами любви коварных жен устроенные. Так, Августин, обольщенный хитрою Ливиею, усыновил жестокого Тиверия, и неистовый Клавдий, Агрипиною омраченный, богемского Нерона. Оба в ослеплении своем, дали несчастному Риму двух извергов, которых гнусная память не исчезнет... Так и Владимир усыновил злочестивого Святополка...»<sup>1</sup>. Среди исторических аналогий мифопоэтического происхождения были заимствованные из «Илиады» Гомера. Например, чтобы яснее представить читателям картину искушения греками Святослава, Елагин в сноске приводит легенду об Улиссе и Ахилле, вероятно, считая недостаточно красноречивой летописную версию событий<sup>2</sup>.

Вспомним, что Ф.Эмин, несмотря на искреннее стремление недопустить в свою историю «сказку» или «басню», в поисках аналогии обращается к древнегреческому мифу: «В том случае Славяне сделались подобными Грекам, которые многие от Троян терпели обиды, и принуждены были долгое время все оныя сносить. Но когда Парис похитил их Гелену, в то время все греческия царства соединясь, пошли на Трою...»<sup>3</sup>. Надо отметить, что использование широко понятых исторических аналогий историками «второго поколения» еще раз подтверждает

<sup>1</sup>Елагин И.П. Опыт повествования о России. М., 1803. Кн. III. С. 346.

<sup>2</sup>Там же. С. 305.

<sup>3</sup>Эмин Ф. Российская история. Спб., 1767. Т. I. С. 82.

жизнеспособность летописной традиции в недрах историографии XVIII века<sup>1</sup>. Однако, следует иметь в виду, что использование аналогий «новыми летописцами» предпринималось с целью придать достоверность летописной версии исторического события или же собственной интерпретации. Между тем, очевидно, что Влагин и Эмин, боясь «набавить тьму сказок», под «сказками» подразумевали летописные предания, а что же касается образцов древнегреческой мифологии, то обращение к ним за аналогиями, подтверждающими историческую достоверность событий русской истории, могло быть следствием воздействия на писателей литературной традиции классицизма, в которой наибольшей ценностью обладал эпос и античная литература. Среди «прекрасных произведений», соответствующих канонам классицизма, была и «Илиада» Гомера — эпическая поэма, основанная на народных преданиях и песнях. Представление классицистов о «правдивом» и «прекрасном» отразилось в тезисе: ничто не является прекрасным, если оно не правдиво — это то, что в природе («натуре») и у древних. Как уже было сказано выше, взгляды историков «второго поколения» на природу мифа формировались под воздействием этой эстетической программы классицизма, в котором сюжеты античной мифологии воспринимались амбивалентно — с точки

---

<sup>1</sup>Древнерусские книжники «пытались всякое историческое событие или действующее лицо связать с другими, столь же историческими событиями или лицами, ... сравнить героя или событие с подобными героями или событиями, известными из византийских хроник или библейских книг, искать и находить аналогии всему, что происходило в этом огромном и едином по своим основным закономерностям мире».

История русской литературы X—XVII веков. М., 1980. С.79.

зрения их исторической и эстетической значимости. Между тем очевидно и то, что в числе доказательств, подтверждающих вероятность того или иного летописного эпизода у Эмина и Елагина встречаются образцы русского песенного эпоса, примеры из русских народных сказок.

Так, например, И.П.Елагин, повествуя о князе Владимире, упоминая о русских богатырях Илье Муромце и Алеше Поповиче и о Соловье-разбойнике как исторических героях, утверждает, что «сомневаться в существовании их потому не находим причины, что во времена Киевского Великого Кн.Владимира I видим мы в повествовании Нестора имена Героев, которые в древних песнях нам остались»<sup>1</sup>.

По мнению сочинителя, нельзя отвергать «свидетельства древних наших песен», так как «справедливость вещания их доказывает простота повествовательного их содержания, и утверждает обыкновение всех воинских народов, не столько в летописях, сколько в стихотворном пении, дела Героев своих потомству передававших»<sup>2</sup>.

В примечании Елагин продолжает развивать тему русского народного эпоса, как факта истории, содержащего «живые черты времени»: «Песни они еше и ныне скоморохами, и больше пищими поются, особливо в Москве по рынкам. Она величают и жен Владимировых и богатырей, или Героев его; равно как и в сказках сказуют в Илье Муромце, Алеше Поповиче, Соловье Разбойнике, Дюке Стефановиче и прочих многих богатырях, в летописях упоминаемых. Сказки сии певались на распеве, подобно песням Гомеровым в его эпических поэмах»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Елагин И.П. Указ. соч. Кн.II. С.138.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Там же. С.138 — 139.

Таким образом, мы видим, что Елагин склонен безоговорочно поверять летописные сведения более древними эпическими сказаниями, не применяя к ним слова «баснь» в значении «выдумка». На недоверии к летописному свидетельству, безусловно, сказалось недоверие историков «второго поколения» к более поздним, по отношению к описываемым событиям, свидетельствам летописцев и нежелание верить летописцу «на слово». Вместе с тем, русский эпос воспринимался историографами как исторически достоверный и эстетически ценный.

Историк «первого поколения» Г.–Ф.Миллер, отвергая сомнения в достоверности летописного свидетельства о происхождении Новгорода, в качестве аргумента использует следующий довод: «... не должно опровергать их свидетельства: Ибо такие случаи могли удобно сохраниться в словесных повестях»<sup>1</sup>. Говоря о новгородской героине Марфе Посаднице, Миллер упоминает, что она «и ныне довольно известна по изустным повестям»<sup>2</sup>.

Известно, что Екатерина II в «Записках касательно русской истории» часто использовала сведения из древнерусских памятников в целях пропаганды своих политических идей. Поэтому «отбор» летописного материала, который она осуществила, носит скорее не эстетический, а идеологический характер. Екатерина II хотела видеть в древнерусских памятниках отражение тех представлений о поведении людей,

---

<sup>1</sup>Миллер Г.–Ф. Краткое известие о начале Новгорода // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. Спб., 1761<sup>1</sup>. Июль. С.4.

<sup>2</sup>Там же. С.115.

какие она пыталась «воспитать у своих «верноподанных» в России в XVIII веке»<sup>1</sup>. Например, она «пыталась замолчать о «вольностях» и древних правах новгородцев, «хотя копии договоров Новгорода с великими князьями были представлены ей из Архива Коллегии иностранных дел»<sup>2</sup>. Вместе с тем, очевидно, и то, что иногда «отбор» летописного материала для сочинения был продиктован представлениями Екатерины II о «правдоподобном» в истории. В результате такого «отбора», носившего, безусловно, эстетический характер, смерть князя Олега была лишена чудесной подоплеки и представлена в «Записках» как исторический факт: «Егда приближеся осень, говорят летописцы, Олег вспомнил о любимом своем коне, его пред себя привести велел; но узнав, что умер в его отсутствие, сел на лошадь, поехал мимо костей этого коня, из головы которого выскочила змея, его ужалила в ногу, от чего Олег умер в 912 году...»<sup>3</sup>. Из сочинения было также исключено предание о мщениях княгини Ольги, по оставлен пожар в Коростене, происшедший по версии Екатерины II, случайно: «учинился во граде пожар и сторел город Коростен весь»<sup>4</sup>. То есть перед нами традиционный для историографов «второго поколения» вариант «очищения истории» от летописного «баснословия», где «баснословие» понималось в значении «недостоверные, вымышленные сведения, рассказы»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Моисеева Г.Н. Древнерусская литература о художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С.93-94.

<sup>2</sup>Там же. С.93.

<sup>3</sup><Екатерина II>. Записки касательно Российской истории. СПб., 1787. Ч.I. С.50.

<sup>4</sup>Там же. С.69.

<sup>5</sup>Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984. Вып. 1. С.147.

В то же время Екатерина II подтверждает летописное свидетельство о том, что Владимир привлекал в Россию «храбрых богатырей ото всюду», ссылаясь при этом на фольклорный источник: «В том числе были Ян или Иоанн Хамович, Александр Попович, Илья Иванович Муромец, Андриян Добрянков, Добрыня Никитич, Рогдай, который на всякую силу один выезжал и иные многие. О сих много повествуют в народных сказках»<sup>1</sup>.

Такое отношение к русскому эпосу не могло не сформировать и новое отношение историка к летописному преданию, рассказу, имеющего эпическое происхождение.

Можно предположить, что Н.М.Карамзин, осознав в 1802—1803 годах как эстетическую, так и историческую значимость мифа, имел в этом вопросе предшественников, перенесших во второй половине XVIII века из литературы в историографию амбивалентное восприятие мифа. Одновременно скептическое отношение историков «второго поколения» к летописным свидетельствам привело к недооценке их исторической и эстетической значимости. Между тем очевидно, что восприятие древнерусской мифологии как порождения духовной жизни русского народа приходит в русскую историографию вместе с сознанием и исторической значимости самого летописного слова.

Однако нельзя утверждать, что Елагин и Эмин сумели оценить, как Карамзин в 90-е годы, в летописном предании его «поэтическую сторону». Отметим, что, скорее всего, они приближались в своем восприятии летописного предания к представлениям Карамзина в период его работы над первыми томами «Истории государства Российского», когда Карамзин пришел к выводу о том, что «истинное происшествие должно быть основанием» любого «баснословного сказания», а «самья

---

<sup>1</sup>Екатерина II. Записки... С.115.

басни древняя любопытны для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени»<sup>1</sup>. Подтверждая эту мысль, Н.М.Карамзин в Примечании приводит следующую аналогию: «Так Гомеровы Поэмы, будучи зеркалом древних обычаев и нравов, весьма любопытны для самого Историка»<sup>2</sup>.

Таким образом, писатель приравнял по историко-эстетической значимости мифы Древней Греции и Древней Руси. Но в этом у него были предшественники. Ф.Эмин в третьем томе своей «Российской истории» старается избегать типичного для повествования первого и второго томов красноречия, стремится не подменять факт его объяснением, отказывается от вымысла и «догадок». При этом повествование в третьем томе становится суше и лаконичнее и тяготеет к научному.

Н.И.Новиков в своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» удостоил похвалы как раз последний том «Российской истории»: «Собственные его сочинения, а особливо Российская история, достойна похвалы: в первых книжках его издания, слог не довольно чист, но в последующих гораздо переменился...»<sup>3</sup>. Новиков традиционно обратил внимание исключительно на слог исторического сочинения, не затрагивая проблему содержания. В действительности не только слог повествования в третьем томе «Российской истории» стал более «сходным с истиной», но и изменилось отношение писателя как к летописному преданию, так и к «слову» летописца. Эмин в первых томах «Российской истории» насыщал свое повествование выдуманными речами исторических деятелей и

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История... Т.1. Гл.VII. С.97.

<sup>2</sup>Там же. Примечание к Т.1. Гл.VII. №367.

<sup>3</sup>Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Спб., 1772. С.257.



мотивировал свое «допущение» словами: «Но естли Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что нибудь тому подобное»<sup>1</sup>. При этом Эмин кивал в сторону неких «всех Историков» — будто бы и все они пользовались вымыслом именно для того, чтобы «историю отличить от сказки». Характерно, что в третьем томе своей истории Эмин называет истинные причины своих «вольностей», однако при этом он опять ссылается на то, что подобное «историками дозволяется». При этом он выступает не столько как историк, сколько публицист: говоря о событиях прошлого, он имеет в виду современные ему события. Так, раскрывая на этот раз причины искажения речи жителей города Галича к своему князю Ярославу, Эмин отказывается от привычной реверансной манеры в обращении с читателем и высказывается искренне, с определенной долей иронии и досады на причины, побудившие его к вымыслу. Оказывается, что этот вымысел не всегда совпадает с желанием писателя братья за кисть художника: «Многие могут подумать, что вся сия речь мою, как Историкам дозволяется, выдуманна. Но кто оныя материю прочтет в списке Нестеровым названном на стран. 226 в начале, то увидят, что конец на оной странице изображенные речи, все то в себе заключает в одной строке, что я сказал во многих; все те, кои больше хорошо мыслить, нежели много говорить привыкли, увидеть могут, что вся сила оныя речи которая я угодая нынешнему свету протяженным, а может быть и пустым слогом разкрасил, заключена в нескольких словах; из чего видно, что и древняя времена многие государей наших Советники все то в своих мыслях имели, что нынешние только вообразить могут. Видно, что в то время Алмазов еще в России не гранили и правды красноречием не украшали, почему великия древних наших Россиян мысли были просто изображаемы»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Эмин Ф. Российская история. Т.1. Предисловие. С.XL IX.

<sup>2</sup>Эмин Ф. Российская история... М., 1769. Т.3. С.106.

Из слов Эмина создается такое впечатление, что авторская «вольность» в историческом сочинении — это обязательный элемент некоего этикета, навязанный литературными вкусами современников. Можно сказать, что Эмин в первый раз признает в своем сочинении летописный вариант события самоценным уже потому, что это правда, а летописная «простота» и лаконичность повествования были оценены Эминым с эстетической позиции. Для читателя же вариант летописной речи все еще оставался абсолютно неприемлемым.

В «Библиотеке Российской исторической», где была впервые издана «Повесть временных лет» и куда отсылает Эмин читателей, можно найти следующие слова галичан: «Княже! ты если у нас один, аще тебе что сотворится, что нам деяти? поеди, Княже, к городу, а мы ся бьем сами со Изяславом, а кто из нас будет жив, прибегнем к тебе, и с тобою затворимся в городе»<sup>1</sup>. Понятно, что такой слог не мог усладить любопытствующего читателя XVIII века, поэтому так необходим был вариант речи, предложенный Эминым и раздутый на три листа. Трогательная речь сочинителя выглядела следующим образом: «... Что нам в то время в городе, когда тебя в оном живаго не будет? ... а ежели и будем толико несчастны, что неприятель нас побудит, то лучшее от него ушед, затворимся во граде и на стенах оного все желаем погибнуть, имея надежду, что ты кроткий Государь, на место нас детям нашим останешься отец, нежели остаться сиротами без призрения и защиты толь милосердного как ты, отца лишенными»<sup>2</sup>. Таким образом, приведенное выше признание писателя еще раз подтвердило, какое значение имела ориентация историка в своем труде на вкусы и потребности читателя XVIII века. Польза и удовольствие читателей попеременно водили пером его.

<sup>1</sup> Библиотека Российская историческая. Спб., 1767. Ч. I. С. 226.

<sup>2</sup> Эмин Ф. Российская история... Т. III. С. 105—106.

Так, стремясь установить причинно-следственные связи между событиями истории, Эмин приходит к выводу о том, что «каждое обыкновение имеет свою собственную Историю, или по малой мере свою **баснь**. Между толикими обыкновениями и их историями или **баснями** весьма трудно сыскать тот скрытый узел, который в одно собрание все обыкновения с настоящими оных началами и причинами связывает и в желанное приводит согласие»<sup>1</sup>.

Следуя логике Эмина, можно заключить, что если в основе каждого «обыкновения» (события) лежит или другое «обыкновение», или баснь, как «душа» «обыкновения», то, в свою очередь, по словам Карамзина, «истинное происшествие должно быть основанием» любого «баснословного сказания». Об этой же стороне баснословия пишет и Эмин. Указывая на трудности при установлении причин исторических событий, сочинитель склоняется к тому, что «все обыкновения имеют свои начала и причины, которые бывають основаны или на **легковерных мнениях**, либо на важных действиях; но и те **легковерные мнения** произошли от каких нибудь действий, и имеют свои причины»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Там же. Т. III. Предисловие. С. V. (Выделено мной. — Д.Н.). В XVIII веке слово «баснь» имело несколько значений, среди которых: 1) мифологическое сказание, миф; 2) ложное воззрение, теория, мнение, верование. Эмин в данном отрывке употребляет слово баснь в первом значении. В Предисловии к I и II томам Эмин употребляет слово «баснь» во втором значении. Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984. Вып. 1. С. 148.

<sup>2</sup>Там же. С. IV. Под словами «легковерное мнение» в данном контексте, скорее всего, подразумеваются те же басни, т.к. в числе значений слова «баснь» в XVIII веке были часто употребляемы во мн.ч. — «лживые вести, слухи, пустые разговоры, сплетни». Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984. Вып. I. С. 148.

Таким образом, можно сказать, что Эмин, эволюционируя как историк, в третьем томе своего сочинения приходит к осознанию исторической значимости мифа в русской истории — и миф «воспринимается как порождение своей эпохи» (Ю.М.Лотман). Вместе с тем, Эмин—художник в отношении к мифу минует ту стадию, которую прошел Карамзин в 90–е годы, когда для него была «особенно притягательна поэтическая сторона мифа»<sup>1</sup>. Взгляды на миф Эмина предшествуют взглядам Н.М.Карамзина в период издания «Вестника Европы» (1802—1803) и его работы над первыми томами «Истории», повествующем о древнем периоде родной истории.

Обращение Эмина к мифу как к историческому свидетельству в третьем томе «Российской истории», скорее всего, было продиктовано теми же соображениями, которыми руководствовался и Н.М.Карамзин в «Истории государства Российского»: «Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимым; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые избирают»<sup>2</sup>.

Становление Эмина—историка от первого к третьему тому позволяет говорить об изменении его отношения к историческому источнику и об изменении его представлений об исторической достоверности.

Можно сказать, что к последнему десятилетию XVIII века постепенно осуществлялась идея Петра I о создании монументальной истории России. Сочинения историков «первого поколения», а также издаваемые отдельно исторические источники — все это свидетельствовало о том, что в русской

---

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М.Карамзина (1789—1803) / Уч.зап. Тартуского ун-та. 1957. Вып. 51. С.138.

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. История... Предисловие. С.ХІІІ.

историографии начала складываться полная картина русской истории. Но эта «картина» была еще далека от своего окончательного завершения. Для ее завершения требовалось еще и еще возвращаться к наименее освоенному в историографии периоду русской истории — «к концу горизонта, где пустеют, меркнут тени и начинается непроницаемость»<sup>1</sup>. Поэтому каждое найденное свидетельство об этих временах сокращало количество белых пятен на историческом полотне, что заставляло историков «менее выбирать» и «пользоваться находимым»<sup>2</sup>. При этом стремление превратить посредством искусства «исторически значимое» в «эстетически значимое» уступало место осознанию эстетической значимости исторической истины, «какой бы она ни была».

Рассмотрим следующий пример. Н.А.Львов — поэт, архитектор и, наконец, историк-неофит издает в 1792 году новонайденный Летописец Ефимьевского монастыря. В предисловии к изданию сочинитель просит у читателей извинения за слог, за который он «не может отвечать и исправлять», но спешит уверить, что решился на то, чтобы «исправить ошибки писцов, объяснить неупотребительные слова и **вычернить некоторые нелепости**», а некоторые «чудеса, затмевающие историческую истину он стремился несколько объяснить»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История... Предисловие. С.ХІІІ.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Львов Н.А. Летописец Русской от пришествия Рюрика до кончины Царя Иоанна Васильевича. Спб., 1792. Ч.І. Уведомление. С.1. 14. (Выделено мной. — Д.Н.). Обращает на себя внимание слово «вычернить» в значении «вычеркнуть, исключить из написанного», подтверждающее практику «отбора» эстетически и исторически значимого летописного материала. Словарь русского языка XVIII века. Л., 1989. Вып.5. С.65.

Очевидно, что Лъвов имеет в виду «критику текста» источника, широко распространенную в русской историографии благодаря А.Шлеперу (см. стр.141). Однако, как уже говорилось ранее, «критика текста», особенно в сочинениях «новообращенных» историков из среды литераторов, часто превращалась в авторскую интерпретацию летописного факта, не имеющего ничего общего с исторической достоверностью. Другими словами, его неубедительным и часто нелепым объяснением. Примечательно, что спустя шесть лет после издания летописца Ефимьевского монастыря, Н.А.Лъвов издает другую, найденную вместе с первой летописью, по поводу которой в Предуведомлении сообщает читателям, что она «несравненно более первого была разобрана и растеряна, то и времени более требовала для приведения оной в некоторый порядок»<sup>1</sup>. Историк в этой ситуации попытался восстановить исторические события в их хронологической последовательности и, учитывая летописно-апналистический способ изложения исторических событий, ему потребовалось восполнить «пробелы», образовавшиеся в результате невозвратимых потерь. Вестественно, что Лъвов в таких условиях уже не мог «вычернить» из найденной летописи даже «чудеса» и «нелепости». В результате в Предуведомлении к изданию летописи издатель признается, что он «не касаяся ... нигде до слога оной и **оставляя во всей целости подлинника все нелепости, суеверия невежественных времен без разбора с правдою перемешанныя**, по тому, что для писателя Истории не одно только несомненные происшествия важны; но и голые

---

<sup>1</sup>Лъвов Н.А. Подробная летопись от начала России до Полтавской Батални. Спб., 1798. Ч.I. С.111.

волки поедавшие Москву и кровавое озеро в Торопце означают степень просвещения народного и дополняют картину века, которая одними деяниями была бы несовершенна, когда бы причины оных, сокрыты были»<sup>1</sup>. В приведенном отрывке, на наш взгляд, отразилось отношение историка «второго поколения» Н.Львова к летописному источнику. Выделим те положения из предисловия Львова, которые в наибольшей степени это подтверждают. Итак, известно, что Львов получил летопись в крайне разоренном состоянии. Были утеряны целые листы источника, соответственно летописный хронологический ряд оказался полон «пробелов». Поэтому, чтобы восстановить целостность летописно-анналистического повествования, Львов занялся поиском «пропавших» событий в других источниках, и в результате, по признанию издателя, он только привел в «порядок избранный список, подвел хронологические числа и дополнил в тетрадах недостовавшие листы»<sup>2</sup>. Таким образом, Н.Львов оказался в положении, когда уже не приходилось выбирать между летописными «нелепостями», находящимися вне пределов эстетических представлений писателя и исторически и эстетически значимыми событиями русской истории. Поэтому Львов и оставляет в издании все летописные «нелепости» и «суеверия», среди которых были предания о «голых волках, поедавших Москву» и «о кровавом озере в Торопце».

Эти летописные сказания мифологического происхождения стали писателем восприниматься как знак эпохи, в которой они появились. Львов признает, что они «означают степень просвещения народного» и «дополняют картину века».

<sup>1</sup> Там же. С. IV. (Выделено мной. — Д.Н.)

<sup>2</sup> Львов Н.А. Указ. соч. С. IV.

Итак, Львов «творит из данного вещества», в составе которого оказались и «нелепые суеверия», летописные предания, которые воспринимаются историками уже как факт истории. Более того, Н.Львов, как до него Ф.Эмин, подтверждает свое новое отношение к мифу тем, что усматривает возможность рассматривать эти «суеверия» в числе причин некоторых исторических событий. Говоря о «волках» и «озере», Львов признает их право на существование как составляющих «картину века, которая одними деяниями была бы несовершенна, когда бы причины оных сокрыты были»<sup>1</sup>.

Таким образом, перед нами примеры, свидетельствующие о том, что историки «второго поколения» Эмин и Львов по мере углубления в исторический материал «менее выбирали» и все более ценили «находимое». Сама История заставила их отказаться от поверхностного взгляда на нее и требовала от историков все новых и новых свидетельств для воссоздания наиболее полной и точной картины исторических событий, начиная «с древнейших времен». Поэтому кажется закономерным тот факт, что первоначальное желание историков «второго поколения» «выйти за рамки летописи» спустя какое-то время сменяется стремлением вернуться к летописи как к источнику эстетически понятной исторической истины. Но на пути возвращения авторитета летописного слова в историографию стояли летописные предания, о которые всякий раз, обращая внимание на их «неправдоподобие», «спотыкались» историографы. Однако, в связи с тем, что господствующая литературная эстетика «допускала» древнегреческую мифологию в высокие жанры, а (как древнегреческий, так и русский) эпос неизбежно воспринимался в литературе классицизма как высочайшая ценность, летописное «баснословие» в сознании историков нашло оправдание своего существования как в

---

<sup>1</sup> Там же.



летописи, так и в историческом сочинении. При этом употребление слов «баснословие» в значении «недостоверные, вымышленные сведения, рассказы; недостоверность, ложность сообщаемого» сменилось на другое значение: «повествование о языческих богах, героях; миф, мифология»; соответственно часто употребляемое историками в отношении летописного предания слово «баснь» стало употребляться в значении «мифологическое сказание, миф», а не в широком значении «ложное воззрение, теория, мнение, верование»<sup>1</sup>. «Баснь», приобретая в историографии «статус» мифа, вместе с тем должна была восприниматься как эстетически значимая категория. Признание эстетической значимости летописного мифа неминуемо вело за собой признание его исторической ценности. В то же время историки, занявшись историческим разысканием, и пытаясь установить причинно-следственную связь между событиями, убедились в том, что у каждого исторического события должна быть причина, своя предыстория, но невозможность порой ее установить, подвигла некоторых из них на признание мифа в качестве возможной причины, исторически достоверного события. Осознание исторической значимости исторического баснословия приходит практически одновременно с осознанием его эстетической значимости. Но происходит это как бы с двух сторон: как со стороны художественной, где под влиянием литературной эстетики приходит признание эстетической и исторической ценности мифа, так и со стороны научно-познавательной, где стремление историков установить причинно-следственные связи между событиями истории с целью воссоздать полную картину русской истории, привело к эстетически осознанной исторической значимости мифа.

---

<sup>1</sup>Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984. Вып.1. С.147—148.

Таким образом, можно утверждать, что в том числе и через «признание» историками летописного мифа происходит и возвращение авторитета летописного слова в русскую историографию.

Кроме того, можно с полным основанием говорить о том, что Н.М.Карамзин в своих взглядах на эстетическую и историческую ценность летописного предания имел предшественников в русской историографии. Однако, повторяя порой путь своих предшественников и их ошибки, Карамзин шел дальше них. Так, для историков XVIII века было характерным начинать свой путь в историографию с полного непризнания каких-либо эстетических или исторических достоинств мифа. Сначала миф воспринимался в просвещенном сознании историков как антиисторическая и антиэстетическая категория, свидетельствующая о нравах и обычаях «в мерзость погруженного народа». Н.М.Карамзин, разделяющий в 90-е годы в своем сознании мифологию и историю, «напротив, начал путь в историографию с «преимущественного внимания к мифу, а не к историческому факту», причем в мифе для него особенно привлекательна поэтическая сторона»<sup>1</sup>.

Для историков XVIII века, даже после признания ими эстетической значимости мифа, не наступило время осознания его поэтической ценности. Вместе с тем эстетическое восприятие мифа приходит в историографию XVIII века практически одновременно с осознанием его исторической значимости. В историографическом творчестве Карамзина эти два представления в постижении амбивалентной сущности мифа разведены во времени, что соответствовало господствующему принципу дихотомии художественного и научно-познавательного.

---

<sup>1</sup>Плотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М.Карамзина. (1789—1803). С.138, 140.

В «Истории государства Российского» Карамзин уже отдает предпочтение историческому факту и мифу, воспринятому как исторический факт и в то же время миф у Карамзина приобретает дополнительное эстетическое наполнение, связанное с проблемой национального. По мнению Ю.М.Лотмана, в 1803 году «старина уже не мыслится Карамзиным как нечто вненациональное: миф — это не произвольный вымысел, но тоже часть истории определенного народа определенной эпохи»<sup>1</sup>. Таким образом, эстетическая значимость мифа связана с его национальными особенностями.

Вместе с тем, по мнению Б.М.Эйхенбаума, новый эстетический принцип заключен и в самом отношении Карамзина к далекому прошлому<sup>2</sup>. Этот принцип сформулирован Н.М.Карамзиным в предисловии к «Истории государства Российского»: «Прилежно истощая материалы древнейшей Российской Истории, я одобрял себя мыслию, что в повествовании отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источник Поэзии! Взор наш в созерцании великого пространства не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где пустеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?»<sup>3</sup>. Таким образом, заключает Эйхенбаум, «все прошлое — уже тем одним, что оно отодвигается к горизонту, — становится «источником поэзии»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Там же. С.154.

<sup>2</sup>Эйхенбаум Б. Карамзин//Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С.19.

<sup>3</sup>Карамзин Н.М. История... Предисловие. С.ХІІІ.

<sup>4</sup>Эйхенбаум Б. Карамзин. С.19.

Обратимся теперь не к содержательной стороне исторических сочинений, а к форме воплощения истории.

Эволюция взглядов Карамзина, которая произошла в процессе его работы над первыми томами «Истории государства Российского», коснулась также формы собственноисторического сочинения.

Н.М.Карамзин обращает внимание на то, что самой незанимательной для рядового читателя должна показаться история Древней Руси до времени правления Иоанна IV. Имеется в виду тот период истории, который историками «второго поколения», и самим Карамзиным в 90-е годы более всего подвергался сокращению с целью из него «выбрать», «одушевить», «раскрасить» наиболее «любопытные» известия. Отношение Карамзина к этому периоду или, вернее, к сокращенному изложению этого периода русской истории в процессе работы над «Историей» меняется следующим образом: «Историк России мог бы конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе Государства, представив важныя, достопамятнейшия черты древности в искусной картине и начать **обстоятельное** повествование с Иоаннова времени, или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для Автора, утомительных для читателя. Но сии **обозрения, сии картины** не заменяют летописей и кто читал единственно Робертсоново Введение в Историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истиннаго понятия о Европе средних времен. Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих: тогда знаем Историю.

Хвастливость Авторского красноречия и нега Читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков?»<sup>1</sup>. Можно предположить, что в этом заявлении Карамзина содержится программное, коренным образом изменившееся с 1803 года, представление писателя о приоритетном историографическом жанре. Если предположить, что упомянутое им «обстоятельное повествование» — это жанр «монументальной истории», который находился у истоков русской академической историографии и к нему Карамзин, вероятно, относит свою «Историю», то тогда, следуя логике карамзинского повествования, «обозрения» и «картины» противопоставляются этому «обстоятельному» жанру. Под «обозрениями», вероятно, Карамзин имел в виду «сокращенные» истории, а «краткие» картины — это, скорее всего, историческая повесть, анекдот, очерк, содержащие которых составляли «выбранные» сочинителями наиболее «любозытные» «случаи и характеры».

Обращает на себя внимание, что Карамзин использует слово «картина» не случайно, а, вероятно, подразумевая свой метод эстетического «выбора» исторического сюжета для произведений искусства, который предусматривался им в статье «О случаях и характерах русской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802), и который является определяющим в процессе художественного постижения исторического пространства историками «второго поколения».

---

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История государства Российского. Предисловие. С.ХI. (Выделено — Карамзиным Н.М.)

Очевидно, что метод творческого «отбора» определил и изменения в самой жанровой структуре собственноисторической литературы, из которой выделались жанры «сокращенной» или «краткой» истории, исторические повесть, анекдот, очерк, в которых преобладали уже художественные элементы, связанные с индивидуальной творческой манерой сочинителей. Можно предположить, что Н.М.Карамзин своим литературным творчеством и публицистикой оказывал безусловное влияние в 90 е годы на этот процесс «разрушения» монументального исторического жанра и на формирование малых прозаических жанров повести и очерка.

Однако «Историей государства Российского», отказавшись от «картин» и «обзрений», он возвращает собственноисторической литературе жанр монументальной истории, который, в свою очередь, испытывает на себе влияние жанров исторических повести, очерка, анекдота, драматического жанра. В то же время ход исторических событий, в силу воздействия рационалистической философии, стал объясняться как результат сознательной деятельности исторических личностей. Первым, кто пошел по линии прагматического изображения исторических событий и за основу хода истории положил своекорыстные побуждения человеческой личности (в духе французского рационализма), был М.М.Щербатов. Другими словами, в историографии на смену «случаям» приходили «характеры». Чтобы подробнее рассмотреть эти процессы, проходившие в собственноисторической литературе, вернемся к историкам «второго поколения».

Рассмотрим подробнее как происходило «разложение» жанра «монументальной истории» на «картины» и «обзрения» в сочинениях историков «второго поколения».

Наиболее разительные эпизоды русской истории, раскрашенные цветками «красноречия», разбавленные вымышленными речами исторических личностей, обрастая все новыми и новыми подробностями, приобретали в тексте

исторического сочинения сложную завершенность. Можно сказать, что жанр монументальной истории стал представлять собой хронологическое «сцепление» отдельных «обзрений», «картин», «анекдотов», «рассказов», в центре которых были наиболее впечатляющие «случаи» и «характеры» русской истории. Ярко выраженная сложность отдельных исторических эпизодов в качестве составляющих целое полотно исторического сочинения постигалась историками «второго поколения» путем отбора наиболее эффектных исторических сюжетов, героических, чувствительных и их адаптации в соответствии с литературными вкусами современников. Жанр монументальной истории, задуманный первыми историками как наиболее полный свод сведений о русской истории, не выдерживал напора литературных «случаев» и «характеров», которым было уже тесно в его рамках.

Л.Н. Лузянина, размышляя об особенностях историзма в художественной литературе первого десятилетия XIX века, останавливается на проблеме соотношения литературной формы и исторического содержания. Она утверждает, что в этот период «противопоставление устоявшихся литературных форм историческому сочинению оказывалось вполне закономерным, так как историческое содержание вступало в противоречие с канонами того или иного литературного жанра или даже литературного стиля в целом»<sup>1</sup>. Речь идет о периоде в истории русской литературы, когда литература либо осваивала исторический материал, либо испытывала на себе влияние процесса историзации сознания, начавшегося в XVIII веке.

---

<sup>1</sup> Лузянина Л.Н. Историзм художественного мышления в первые десятилетия XIX века // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1972. Вып. 2. Т. 31. С. 136.

Однако можно предполагать, что явление, о котором здесь говорит Лузянина, — это уже второй этап в формировании русской исторической художественной прозы, следующий за этапом, которому посвящена данная работа. Другими словами, говоря о созревании элементов художественной литературы в недрах собственноисторических сочинений, мы подразумеваем, что речь идет о первом этапе сложного процесса формирования художественной исторической прозы. Временные рамки этого периода приходится на время с 60-х гг. XVIII века вплоть до 1800-х гг. Отличительной особенностью этого этапа является зеркальное отображение того процесса, о котором говорит Лузянина применительно уже к состоявшейся литературе.

На наш взгляд, особенность первого этапа формирования художественной литературы на историческую тему заключается в следующем: строгая научная форма исторического труда (жанр монументальной истории) в последнюю четверть XVIII века не выдерживала натиска художественного вымысла, наполнившего эти сочинения. Исторические труды Ф. Эмина, И. Богдановича, И. Елагина, Екатерины II, написанные в жанре монументальной истории, находятся на грани строгого научного изложения материала и его творческой интерпретации, вследствие чего жанр историкографии вступает в конфликт с художественными элементами повествования.

Литература сентиментализма, пришедшая на смену классицизму, обратила внимание на историческую личность со стороны ее характера, индивидуальных особенностей и привлек. Можно сказать, что изображение исторического лица в собственноисторических сочинениях с первых шагов русской историкографии было трудным делом для историка, стремившегося соответствовать летописному слову. А летопись, как известно, была скупа на подробные характеристики своих героев. Описаний и портретов в ней тоже практически не было. Поэтому для историка, приносящего своим трудом и пользу, и удовольствие современникам, изображение исторической



персоны доставляло много хлопот, и именно эта ситуация подтолкнула историков «второго поколения», балансируя между вымыслом и «правдоподобием» при описании «случаев» и «характеров», все чаще обращаться к «вымыслу». Вместе с тем, к концу столетия за пределами монументального жанра русской истории все большую популярность завоевывали жанры повести, анекдота, очерка, где историческая личность становилась для писателя предметом пристального рассмотрения.

Конец XVIII века и начало XIX века вплоть до полного издания «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина в русской историографии прошло под знаком усиливающейся тенденции художественного изображения исторической личности. Жанры, в которых центральное место принадлежит «характеру», стали изнутри и снаружи теснить жанр «монументальной истории».

Обращение Н.М.Карамзина в «Истории государства Российского» к жанру монументальной истории произошло уже после того, как значение этого жанра в историографии свелось до минимума, и он был на какое то время вытеснен малыми жанровыми формами.

Н.М.Карамзин сам оказал большое воздействие на развитие жанров исторической повести и очерка. Его исторические сочинения как бы дополняли ряд «деяний», «картин», анекдотов, повестей, очерков, которые с конца 70-х годов XVIII века получили широкое распространение как в историографии, так и в художественной литературе. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть библиографические издания А.Н.Пеустрова, П.М.Лисовского, В.С.Сошкова, в которых следует обратить внимание на частотность изданий, относящихся к этим жанрам в рассматриваемый период.

Первое издание «Опыта российской библиографии» В.С.Сошкова (Ч.1-5, Сиб., 1813-1816) наиболее интересно для нас, так как связано с периодом, когда уже намечалось разграничение исторической литературы и художественной

литературы на историческую тему, однако в разделе «История» издатель помещает все издания, относящиеся к истории, не делая каких-либо разграничений между научной и художественной литературами. Особый интерес представляют сочинения, относящиеся к жанрам историографии, в центре которых стоят характеры и деяния. Следует обратить внимание на год издания этих сочинений, так как, приводя здесь их названия, нам важно проследить распространение этих жанров именно в рассматриваемый период<sup>1</sup>:

Анекдоты и деяния славных мужей...	1808
Анекдоты и достопамятные деяния великих и славных мужей...	1809
Анекдоты императора Павла I	1807
Анекдоты, касающиеся до Им. Петра Великого	1798
Подлинные анекдоты о Петре Великом	1793
Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве	1809
Анекдоты подвиги Императрицы Екатерины II	1806
Анекдоты Русские...	1809
Анекдоты, объясняющие дух Графа П.А.Румянцева-Задунайского	1811
Русские Анекдоты. Гражданские и Исторические...	1811
История о славном российском воре Ваньке Капте...	1785, 1808
История о князе Я.Ф.Долгоруком	1808
История о невинном заточении боярина А.С.Матвеева...	1776, 1778
Сокращенная история жизни Петра Великого	1796

<sup>1</sup> Последние названия сочинений, а также имена их издателей и авторов в данном случае не имеют значения.

Великие и достохвальные деяния Российских Государей, полководцев, гражданских чиновников и других людей	1803
Деяния Петра Великого...	1782 - 1797
Жизнь и военные деяния Ермака...	1807
Жизнь, свойства, военные и политические деяния Российского Императора Павла I, Князя Потемкина, Канцлера Безбородки	1805
Жизнь князя Я.П.Шаховского	1810
Зеркало российских государей...	1887
Картины жизни и военных деяний...	
Кн. А.Д.Меньшикова	1803
Описание деяний Им.Петра Великого	1788, 1792
Пантеон Российских Государей	1807---1810
Марфа Посадница, или покорение Новгорода, историческая повесть.	1802
Российские исторические отрывки	1810
Российский царский памятник...	1783
Пантеон Российских Государей	1807---1810
Русские исторические нравоучительные повести	1810
Краткая повесть о бывших в России самозванцах	1778
Сокращенная повесть о Степке Разине	1779
Пожарский и Митяя, спасители Отечества	1810

Кроме того, в начале XIX века большую популярность приобрели и русские «Плутархи», а также многочисленные словари, в которых большое место занимали жизнеописания царей, полководцев и других исторических персон. Это лишь небольшая часть сочинений, издаваемых в рассматриваемый период и посвященный историческим деятелям. Сами названия указывают на то, что центром собственно исторического сочинения становилось изображение «свойств» и «деяний» исторического героя. Преобладавшие сочинения, относящиеся к так называемым «облегченным» жанрам в последнее

двадцатилетие XVIII — начале XIX веков, может быть объяснено тем, что изданные с середины XVIII века монументальные «Истории России» позволили «любителю истории» выбрать из сочинений Елагина и Богдановича наиболее интересные характеры и случаи и описать их, не затрудняя себя изучением источников. Дело оставалось за малым: «раскрасить и одушевить» исторических героев<sup>1</sup>.

То, что происходит с жанром «монументальной истории», в летописном своде нового времени в общих чертах повторяет процессы, протекавшие в XV—XVII вв. в летописи. Это было время, когда летопись стала терять свои центральные позиции и ее место заняли другие жанры. Д.С.Лихачев отмечал, что в этот период «летопись становится выразительницей строго официальной точки зрения на русскую историю, но вместе с тем она утрачивает свое значение важнейшего государственного документа...»<sup>2</sup>. Летопись уступает первенства другим жанрам, одновременно изменяясь под их усилившимся влиянием. Что же это за жанры? Д.С.Лихачев называет в числе их жанры делопроизводства: «Делопроизводство московских приказов отражается в летописи»<sup>3</sup>. По мнению ученого, «навыки и приемы летописания «впитываются» иными стилистическими особенностями,шедшими и от документа, и от исторических повестей...»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Л.Н.Лузянина отмечает, что «представление об истории как Пантеоне доблестных дел и великих событий является по сути дела уже литературной историей...»

См.: Лузянина Л.Н. Историзм художественного мышления. С.134.

<sup>2</sup>Лихачев Д.С. Русские летописи. М.: Л. 1947. С.423.

<sup>3</sup>Там же. С.423.

<sup>4</sup>Там же. С.377.

Нам особенно важно учитывать влияние на летопись исторической повести, поскольку в это же самое время «в летопись широко проникают повествовательные приемы, идущие из переводных хронографов...»<sup>1</sup>. Среди сочинений, оказавших в XV—XVII веках влияние на летопись были не только хронографы, но и «Летописец начала царства», «История о великом князе московском», «Степенная книга», Никоновский летописный свод, которые отличались единством темы. Это, как отмечал Д.С.Лихачев, были сочинения, посвященные ограниченному историческому периоду или одному историческому лицу. «Степенная книга», например, вся сводится к биографиям великих князей и митрополитов и их характеристикам.

Таким образом, Д.С.Лихачев наблюдает амбивалентный процесс, протекающий в летописи с XV по XVII век: с одной стороны, тенденции, идущие и от приказного делопроизводства, и от повествовательной литературы, постепенно укрепляются в самой летописи, а с другой стороны, «под влиянием этих двух тенденций московская летопись перестает существовать: «она выделяет из себя историческое повествование типа «Степенной книги», исторических повестей и сказаний, а с другой — сводится к описи архивного исторического материала»<sup>2</sup>. «Разложение» летописи и «выделение» из нее других жанров вложено уже в самом многожанровом характере русского летописания. Монументальная история XVIII века воспринимается как летописный свод нового времени, и под влиянием требований этого времени, а также потому, что повторяет «многожанровость» древнерусской летописи, видоизменяется и в конечном итоге разрушается под воздействием в том числе и жанра «исторической повести и анекдота».

<sup>1</sup>Там же. С.377.

<sup>2</sup>Там же. С.423.

Таким образом, летописи XV—XVII веков и сочинения, относящиеся к жанру монументальной истории в XVIII веке, имеют схожую судьбу<sup>1</sup>.

Необходимо отметить еще одну важную параллель в судьбах древнерусского летописания и летописания «нового времени». По мнению Д.С. Лихачева, приемы летописания «оказывают влияние на все виды исторических жанров, многие из которых воспринимались читателями как летописные. Вытесняемые из летописания, они начинают оказывать заметное влияние вне его пределов»<sup>2</sup>. То, что происходит с летописью и исторической повестью XV—XVII веков или жанрами «монументальной истории», очерка или анекдота XVIII века, свидетельствует об интенсивном процессе жанрообразования, который выпадает как раз на эти периоды. Смещение, перетекание одного жанра в другой, нечеткое деление приемов и стилистических особенностей, относящихся к разным жанрам — это признаки жанрообразующих процессов.

Традиционное для древнерусского летописания эпическое повествование, усиленное позднейшим влиянием Степенной книги и Хронографа, оказало воздействие на те вытесняемые из летописи жанры, которые имел в виду Д.С. Лихачев.

Но не только летописный рассказ лежит у истоков русской беллетристики, но и сам летописный метод повествования, когда рассказчик передает событие так, как будто видел все своими глазами. Именно этот метод, на наш взгляд, или, вернее, манера

---

<sup>1</sup>Безусловно, нельзя говорить о полной параллели между процессами, проходившими в «летописании» XV—XVII веков и XVIII века. Но если мы принимаем как данность преемственность традиции между «теми» и «этими» летописями, то должны учитывать и эту схожесть их «судеб».

<sup>2</sup>Лихачев Д.С. Русские летописи. С.377.

повествования, оказала огромное воздействие на жанры повести, анекдота в конце XVIII века, которые и «выщелились» из монументальной истории. На наш взгляд, именно «летописный стиль повествования», использованный Н.М.Карамзиным в последних томах «Истории государства Российского» уже как «художественный прием», лежит у истоков беллетризации исторических сюжетов<sup>1</sup>. «Эмоциональная точность, придающая повествованию убедительную достоверность», создается благодаря особой интонации рассказчика — «очевидца» события, а «стремление к точности изображения исторических реалий, сознание эстетической значимости этой точности является своего рода первым шагом к сближению «вымысла» с реальным историческим фактом»<sup>2</sup>.

Рассмотрим особенности повествовательной манеры в «выделяемых» историками исторических сюжетах.

До того момента, когда Карамзин решил «записаться в историографы», его не занимала идея создания монументальной истории России. Карамзинский подход к истории до 1803 года был дискретным: либо «очерково публицистическим» (серия исторических очерков в «Вестнике Европы» в 1802—1803 годах), либо художественным (исторические повести). В основе метода освоения писателем исторического пространства лежит принцип эстетического «отбора» сюжетов русской истории, необходимость которого была обоснована Карамзиным в статье «О случаях и характерах в российской истории» (1802): «Если исторический характер изображен разительно на полотне или мраморе, то он делается для нас и в самых летописях

<sup>1</sup>Лузяпина Л.Н. «История государства Российского» Н.М.Карамзина и трагедия Пушкина «Борис Годунов» // Русская литература. 1971. №1. С.52.

<sup>2</sup>Лузяпина Л.Н. Историзм художественного мышления... С.138.

заинтересованнее: мы любопытствуем узнать источник, из которого художник взял свою идею...»<sup>1</sup>. В своей статье Карамзин предлагает читателям образцы жанра «исторической живописи», т.е. пытается художественно воспроизвести «случаи» и «характеры» русской истории<sup>2</sup>. При этом жанр «исторической живописи» позволяет писателю свободно «домысливать» подробности и нюансы события, не отраженные в летописи, воздействуя таким образом на воображение читателя. Писатель, обратившись к исторической теме и используя при этом образную систему, связанную с изобразительным искусством, не только решает проблему просвещения ума и сердца современников, но и находит способ отделить позицию историка от позиции художника: «Не знаю, позволит ли политика в наше время философу-историку свободно и торжественно судить царствования Анны и Елисаветы; но умный живописец-автор может в легких чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без лести»<sup>3</sup>. «Легкие черты» в историческом произведении — это, скорее, привилегия не историка, но художника, отмеченная Карамзиным и у Богдановича («опыт легкий»). «Легкость» предполагает и возможное «домысливание» автором отдельных подробностей или особенностей характера исторического героя, которых в летописи было крайне мало.

Карамзин писатель все дальше уходит от летописного повествования, поскольку «русские летописцы, в которых

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. Избранные сочинения. М.: Л., 1964. Т.2. С.184.

<sup>2</sup> Дузяшина Л.Н. Историзм художественного мышления в первые десятилетия XIX века / Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Л., 1972. Т.2. Вып.31. С.139.

<sup>3</sup> Карамзин Н.М. Известие о Марфе посадице, взятое из жития Св. Зосимы // Изб.соч. М.: Л., 1964. Т.2. С.230.



должно искать материалов для сих биографий, крайне скупы на подробности: однако ж ум внимательный, оцаренный историческою догадкою, может дополнять недостатки соображением, подобно как ученый любитель древностей, разбирая на каком нибудь монументе старую греческую надпись, по двум буквам угадывает третью, изглаженную временем и не ошибается»<sup>1</sup>. Итак, Карамзин использует принцип художественной реконструкции для выбранного им из летописей исторического отрывка. Реконструируя внеэстетический эпизод истории, писатель должен его «одушевить и раскрасить», превратив таким образом в эстетический. В основе «одушевления» исторической картины лежит творческая интуиция писателя, его талант, но при этом он должен руководствоваться современной ему господствующей литературной эстетикой и сделать свое сочинение «приятным» и «полезным» читателю.

Как и первые историографы, Карамзин стремится вовлечь современников в изучение истории, но он направляет читателя к исторической достоверности и подлинному летописному слову иным образом, чем это делали историки «первого поколения».

По сути, то, к чему привело развитие русской историографии в 90-е годы XVIII века, а именно к усилению художественного элемента в тексте исторического сочинения, было использовано Карамзиным для того, чтобы повернуть интерес читателя в обратном направлении: от художественного воплощения к первоисточнику. Важно отметить, что метод, с которым подошел Карамзин к изображению «случаев» и «характеров» русской истории, предполагал целостное восприятие читателем исторического события, которое достигалось путем воспроизведения писателем в отрывке объективной (близкой к летописной) манере повествования, когда читатель видит событие как бы глазами его «очевидца».

<sup>1</sup>Там же. С.229—230.

Примечателен тот факт, что историки «второго поколения» в своих монументальных историях все дальше и дальше отходили от летописной манеры повествования, стремясь соответствовать требованиям рационалистической философии, и их изложение исторического материала можно скорее назвать аналитическим, предполагающим просвещенный взгляд человека XVIII века на исторические события и оценку достоверности—недостоверности летописного изложения этих событий историком. Как уже говорилось ранее, стремление историков «второго поколения» Ф.Эмина, И.Елагина, А.Сумарокова, И.Богдановича написать иначе, чем у Нестора или Татищева, привело к «сухому перифразису» летописи в их сочинениях, что не компенсировалось даже элементами художественного вымысла, украшениями слога. Карамзин же, предлагая использовать писателям—художникам весь арсенал средств художественного воплощения исторической реальности, знакомый историкам XVIII века, тем не менее отказывается от сухого аналитического повествования ради особой манеры повествования, не столь далекой от летописной. Этот способ повествования в повестях, очерках, образцах «исторической живописи» предполагает сочетание элементов летописной манеры (взгляд очевидца как прием) с расчлененностью текста на два плана: объективно-повествовательный, где больше места уделяется героям и их переживаниям, и субъективно-лирический, где преобладает авторская оценка происходящих событий.

Итак, проследим, как меняется манера повествования в исторических сочинениях от Эмина и Сумарокова до Богдановича и Карамзина. И попробуем доказать наше предположение о том, что не только летописный рассказ лежит у истоков беллетристики, но и сама летописная манера повествования, которую взяли за основу писатели, пишущие на исторические темы в конце XVIII — начале XIX века.

Самый излюбленный сюжет русской истории, уже готовый из-за своей сюжетности для «выделения» из монументальной истории — это летописная версия мщения Рогнеды (Гориславы) князю Владимиру. Многие историки обращались к этому сюжету, и каждый раз это было сделано по-новому. Изложение этого события у Ф. Эмина можно условно разделить на три части. Первая — это рассказ о попытке убийства Рогнедой своего мужа князя Владимира, в котором большую часть занимает вымышленный монолог героини. Надо сказать, что Эмину-художнику особенно удавались трагикоматетические диалоги и монологи героев: «Отец, мать, братья мои тобою жизни лишены, разорено мое Отечество, Я пред всеми поругана, и ныне в супружестве меня уже ненавидишь с бедным сим младенцем (указала на Изяслава), стараясь иметь других жен. Чем я тебя наскучила, что ты меня возненавидел?»<sup>1</sup> Этот монолог прерывается авторскими ремарками, что сближает его с драматургией. В то же время отрывок совмещает функции сообщения о событии и эмоционального воздействия на читателя, который как бы оказывается свидетелем монолога Рогнеды. Этот эпизод должен был, по замыслу Эмина-художника, вызвать у читателя слезы. Но другой момент, где юный Изяслав дает меч отцу, чтобы тот убил его вместо матери, заставляет сомневаться Эмина историка, вследствие чего в сноске он прагматично обосновывает невозможность изяславова поступка следующим образом: «По их летоисчислению Владимир женился на Рогнеде в 980 году, а сей случай полагают в 985. И так не без сомнения, чтобы четыре годовой младенец мог только разумную и геройскую говорить речь. Ему и меч такой, которым убивают людей, в руках тогда удержать было трудно»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Эмин Ф. Российская история. СПб., 1767. Т. 1. С. 304.

<sup>2</sup> Там же. С. 305.

Третья часть, которую мы можем выделить в повествовании Эмина о мщении Рогнеды, выполняет функцию комментария к летописной версии, и содержит авторские предположения о самой причине, побудившей Рогнеду мстить Владимиру. Комментарий отличается сухой деловой стилистикой: «Из сего Несторова повествования видно, что Рогнеда была первая супруга Владимирова; ибо если бы такой ее гнев происходил от мщения за смерть родителей, то она живши пять лет с Владимиром, сыскала бы случай его зарезать. Но видно что прежняя обида умножилась ревностию, которая страсть до великого зла человека доводит. Что же Выпеслав после в Несторе за старшего сына полагается, то может быть для того, что Владимир любя чрезмерно жену свою Чехиню, сына ее предпочел Изяславу. Сие Рогнеду привело в такую ярость, что вознамерилась Владимира лишить жизни. Тогда пришла ей на память смерть родителей и свое поругание. Ревность прежний гнев увеличила, и она думая себя за презренную, так что и сын ее невинно ради нее лишен первенства толь многия обиды думала кончить отчаянием»<sup>1</sup>. Важно отметить, что Эмин, стремясь приблизиться к аналитическому изложению этого «прогнательного» «случая», все дальше отходит от летописного источника, летописной манеры повествования, и таким образом, ничего не оставляет от прекрасной летописной ее версии. Две части из трех, выделенных нами, не оказывают на читателя эмоционального воздействия, но осуществляют функцию сообщения с элементами анализа. Монолог Рогнеды можно отнести к наиболее выразительным элементам «Истории» Эмина, и именно он мог помочь читателям оказаться в комнате Рогнеды в то время и в ту минуту, когда монолог произносился. Функция воздействия и сообщения в этом эпизоде совпадали, за счет чего и создавалась иллюзия «присутствия», характерная и для драматического искусства.

<sup>1</sup>Там же. С. 36.

Вместе с тем, все три плана повествования нарушают целостность восприятия самого события, хотя объединены авторской субъективной ниточкой: автор «внедряется» в сознание своих героев, додумывает саму ситуацию и ее предысторию. Поэтому «случай» о мщении Рогнеды в таком виде, как он представлен у Эмина, не может быть выделен из всего повествования и приобрести «самостоятельное» существование в рамках, например, жанра повести или «исторической живописи».

Этот вариант «случая» лишен целостности и является лишь одним звеном, скрепляющим все историческое повествование. Распадение повествования на несколько планов свидетельствовало о неудовлетворенности писателя летописной версией и о желании выйти из ее рамок.

И.Ф.Богданович в «Историческом изображении России», спустя десять лет после Эмина, дает свою версию трогательной истории Рогнеды. Мы знаем, что И.Ф.Богданович брал за основу своего сочинения «Историю» М.М.Щербатова, который, в свою очередь, опирался на свидетельства Никона. Богданович, как художник, автор «Душеньки», не избегал соблазна по-своему прокомментировать «движения души» героев или даже внедриться в их сознание: «Владимир раздраженный еще более такими укоризнами, повелевает ей облечься в брачное одеяние, сесть на ложе в брачном чертоге и тамо ожидать от руки его, достойной себе казни. Но видимо, сей образ смерти почитался некоторую милостию, в разсуждении супруги княжеской...»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Богданович И.Ф. Историческое изображение России. Сиб., 1848. Т. II. С.204.

Авторское вмешательство в повествование нарушает у читателя иллюзию «присутствия». Речи героев Богданович не вымышляет, а как «летописец» переписывает их у Шербатова, а Шербатов дословно приводит никоновскую версию события. Но вот оценка «движения души» Владимира всецело принадлежит Богдановичу: «Вид сына и супруги, не столь виновной, сколь несчастной, победил мнение, на которое Владимир тщетно уповал в первом движении гнева. Он бросил меч и вышел из чертога с утрызненными совестью»<sup>1</sup>.

В отличие от версии Эмина, версия Богдановича обладает целостностью и законченностью, т.к. функция сообщения и функция воздействия в повествовании совпадает, хотя и разделена композиционно. Другими словами, авторская оценка поступков исторических героев отделена от изложения самого события. Кроме того, Богданович не стремится изменять своему амбициозному художнику и создает свой вариант «случая» от начала до конца, как писатель, которого прежде всего интересует душа героя, а не проблемы достоверности. Поэтому его версия, обладая некоторой целостностью, имеет потенциальную возможность «выделиться» и обрести независимое существование, например, в рамках жанра исторической повести.

Н.М.Карамзин также не мог не выбрать этот трогательный случай с целью воплотить его в жанре «исторической живописи». Писатель в статье «О случаях и характерах» оживляет и раскрашивает несторово сухое повествование о

---

<sup>1</sup> Там же. С.205.

несчастной Рогнеде, таким образом, как это мог сделать художник-сентименталист<sup>1</sup>.

«Кто без жалостного чувства может вообразить прекрасную и несчастную Рогнеду, названную от великих горестей ее трогательным именем Гориславы? Владимир разорил отечество ее, умертвил родителей, братьев и женился на сей отчаянной пленнице. Он мог бы еще верною любовию примирить с собою нежное сердце женщины; но, удовлетворив страсти, князь хочет удалить супругу. Тогда оскорбленная любовь возобновляет в памяти своей все злодеяния жестокого и неблагодарного. Владимир, и Горислава, подкрепляемая учением языческой веры, которая ставила месть в число добродетелей, решится умертвить его. Он в последний раз приходит к ней и засыпает в ее тереме. Рогнеда берет нож — медлит — и князь, просыпаясь, вырывает смертоносное оружие из дрожащих рук ее. Тут Горислава, в исступлении отчаяния, истребляет все свои оскорбления и его жестокости... Я, кажется, вижу перед собою изумленного и наконец тронутого Владимира; вижу несчастную, вдохновенную сердцем Гориславу, в беспорядке ночной одежды, с растрепанными волосами... Комната освещена

---

<sup>1</sup>Наше обращение к изображению «случая» о Рогнеде в статье Карамзина «О случаях и характерах» связано с тем, что именно в оценке и описании произведения живописи, по мнению Лузяниной, возникает «своеобразный стилистический прием — говорить о прошлом как бы опосредовано, представляя себе воображаемую картину, на которой запечатлена какая-то историческая ситуация, «случай». Это своеобразный литературный жанр, который можно было бы определить как «историческую живопись».

См. об этом подробнее: Лузянина Л.Н. Историзм художественного мышления... С.138—139.

лампадою — видишь только самые простые украшения и разный образ Перуна, стоящий в углу. Владимир приподнялся со стога и держит в руке вырванный им нож; он слушает Рогнеду с таким вниманием, которое доказывает, что ее слова уже глубоко проникли к нему в душу. — Мне кажется, что сей предмет трогателен для живописи»<sup>1</sup>.

Выбирая тот или иной эпизод из русской истории, который мог бы быть предметом художеств, Н.М.Карамзин безусловно принимал во внимание их сюжетность. Учитывая тот факт, что природа исторического могла и не обладать эстетическими качествами, мы можем утверждать, что с особым вниманием историографы «второго поколения» и Карамзин относились к тем историческим «случаям», которые в летописной версии обладали сюжетной законченностью и эстетическим потенциалом. Именно в пользу таких «случаев», а также мифов, историки совершали свой «выбор», что свидетельствует о признании историками сюжетного интереса к русской истории в читательской среде. Дискретность повествования в жанре «монументальной» истории, которая составлялась как бы из «выхваченных» и украшенных исторических эпизодов, обладающих сюжетной законченностью, свидетельствовало о разрушении жанра «монументальной истории» изнутри, формирующимися малыми жанровыми формами: анекдота, повести, очерка.

Распадение летописной манеры повествования на несколько планов указывает в том числе и на то, что в недрах монументальной истории, как летописи нового времени, формируется новый тип повествователя, который распадался на историка (аналитическое повествование) и писателя (художественное повествование). А значит, разрушается

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Избр.соч. В 2-х томах. М.: Л., 1964. Т.II. С.193—194.



традиция цельно-синкретического постижения исторической жизни, предполагавшая синтез научно-познавательного и художественного.

Важно отметить, что в тех исторических сочинениях, где над историком преобладал художник, происходило возвращение повествователя к летописной манере повествования, предполагавшей взгляд очевидца. Однако это возвращение происходит на новом уровне, где летописная манера повествования воспринимается уже как литературный прием, способный создать у читателя иллюзию присутствия.

В приведенной выше карамзинской версии «случая» о Рогнеде обращает на себя внимание расчлененность повествования на несколько планов. Первый план, который исчерпывается риторическим вопросом, передает отношение писателя к последующему событию. Здесь преобладает эмоциональная оценка автором происходящего, подготавливающая читателя к восприятию самого события.

Второй, выделяемый нами план, содержит предысторию мнения Рогнеды, как она представлялась писателю-сентименталисту. В этом отрывке Карамзин не столько рассказывает о самих событиях, предшествующих акту мнения, сколько передает мысли и чувства действующих лиц, сопровождая их авторской эмоциональной оценкой.

Третий план повествования вплотную приближает читателя к главному эпизоду этой истории. Это рассказ о событиях, непосредственно предшествующих тому «моменту», который Карамзин выбрал для воображаемой картины. В этом плане повествования преобладает объективно-повествовательная интонация, предполагающая наличие автора-повествователя вне описываемого события. Эмоциональное воздействие на читателя здесь достигается приемом, традиционным для стиля карамзинских повестей: «сухое» перечисление последовательно-временных действий, разделенных в предложении тире, передающее состояние пассивнейшего эмоционального напряжения

героя. Так, например, в «Бедной Лизе» Карамзин использует этот прием в самом трагическом месте повести: «Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — далее и, наконец, скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти»<sup>1</sup>.

И наконец, четвертый повествовательный план, в котором объективно-повествовательная линия совпадает с линиями субъективных авторских оценок эмоционального состояния героев. Этот план лежит в основе жанра «исторической живописи». Автор ясно указывает на то, что картина ему только «представляется». А то, что представляется, дозвоительно изображать художнику, но не историку. Но то, что «видит» художник, выписано так ярко, с такими подробностями, что читатель забывает, что это только «представляется» автору, и «видит» этот момент сам.

Эффект присутствия, сиюминутность происходящего достигается Карамзиным интонацией очевидца и насыщенностью пространства предметами, имеющими символическое значение. Очевидец, как и тот, кто будет разглядывать предполагаемую картину, переводит взгляд с одного предмета на другой, из одного угла картины в другой и становится невольным свидетелем печального «момента». Примечательно, что художник ориентирует читателя-зрителя на центральную перспективу, в которой и заключен сам «момент». А слово «момент», в понимании Карамзина, «техническое, которого смысл можно выразить мгновением»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Бедная Лиза // Изб.соч. В 2-х томах. М.: П., 1964. Т.1. С.618.

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. О случаях и характерах. Указ.соч. Т.П. С.194.

Если в основе всего повествования о мипени Рогнеды лежит время, то в конце, когда Карамзин «подводит» читателя к картине, время как бы останавливается, и художник фиксирует лишь одно «мгновение», как состояние покоя между движениями или «пограничный случай движения».

Б.Р.Вишпер, характеризуя отношение художников Высокого Ренессанса к времени, отмечал одну особенность: для них «движение есть не что иное, как смена неподвижных положений. На их картинах изображены не столько сами движения, сколько выхваченные из потока времени остановки, перерывы между движениями... Иначе говоря, человек Ренессанса мыслил движение как переход из одного неподвижного состояния в другое»<sup>1</sup>.

Выхваченные из потока исторического времени и из монументальной истории «случаи» и «характеры» русской истории напоминают нам «моменты» между движением, остановленные и увеличенные под лупой художника.

Известно, что Карамзин, восхищавшийся в Мангейме статуей Лаокоона и сравнивая ее с описанием этой сцены у Вергилия, отдал все преимущества Фидию<sup>2</sup>, т.к. его «поэма» произвела на sentimentalного путешественника более сильное впечатление, нежели чем тот же эпизод, описанный Вергилием. Причину успеха «Фидиасовой поэмы» Карамзин видел в том, что

<sup>1</sup>Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. С.191—192.

<sup>2</sup>Позднее было доказано, что эта группа идентична упоминаемому в сочинении Плиния Старшего произведению родосских скульпторов Агесандра, Афинодора, Полидора. Словарь античности. М., 1989. С.306.

Карамзин считал, что автор скульптурной композиции — Фидий.

«художник представил — и по законам необходимости должен был представить кушное или единовременное действие, в отличие от Вергилия, который описывает последовательное или разновременное действие», и в его стихах змеи растерзали прежде двух сынов Лаокооновых, а потом уже его самого, бросившегося на помощь к своим детям; но Фидиас соединяет эти два момента, и драконы схватывают у него вместе и отца и детей»<sup>1</sup>. Хотя «Фидиасов» вариант и нарушает историческую правду, но он писателю-сентименталисту дарит уникальную возможность одновременно увидеть и почувствовать драму.

Если бы речь шла не о скульптурном изображении, а о типе повествования, то можно было бы сказать, что объективно-повествовательная линия совпадает с субъективно-лирической. Или, другими словами, функция сообщения совпадает с функцией воздействия. Важно отметить, что Карамзин опять, как и в статье «О случаях и характерах», объясняет употребленное им слово «момент», как «время»: «здесь можно было бы сказать по-Руски **два времени**»<sup>2</sup>, где под «временем» подразумевается «длительность» двух эпизодов. Один из моментов: «этим растерзали сынов Лаокоона», а другой: «а потом уже его самого, бросившегося на помощь своим детям».

Таким образом, «момент» мщения Рогнеды Владимиру у Карамзина — это остановка времени. В изложении всего «случая» о мщении Рогнеды Карамзин приближается к поэту Вергилию, т.к. пытается последовательно передать события, разведенные во времени. «Момент» же покоя в изображении самой попытки мщения, остановленный кистью художника и рассмотренный с особым тщанием писателем, в жанре «исторической живописи» позволяет Карамзину, как и Фидию в

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С.424. (Выделено мной. — Д.П.)

<sup>2</sup>Там же. (Выделено Н.М.Карамзиным.)

Лаокооне, нарушить ход времени и, искажив историческую истину, тем самым произвести на читателя-зрителя сильнейшее впечатление.

Таким образом, мы обращаем внимание на то, что в основе творческого метода Карамзина лежит принцип дискретности, который как общая тенденция появляется в литературе, в том числе и собственно исторической и проявляется в членении крупных жанровых форм на мацье, а также в разделении повествования на несколько планов.

В основе этих планов лежат разные манеры повествования, предполагающие в том числе и расчленение образа повествователя. Г.А.Золотова отмечает неоднородность повествования в ранних повестях Карамзина и связывает «организацию сложного синтаксического целого» с принадлежностью к одному из трех стилевых пластов: «повествовательному, драматическому или субъективно-лирическому» с преобладающим отношением от объективно-повествовательной манеры в сторону «драматической» или «субъективно-лирической»<sup>1</sup>. По мнению другого исследователя — А.И.Горикова, субъективная манера повествования заключена в трех повествовательных планах: «авторских рассуждениях о происходящем», «эмоциональной оценке автором происходящего», а также в «изображении чувств и мыслей персонажей»<sup>2</sup>. Сама расчлененность текста на разные

---

<sup>1</sup>Золотова Г.А. Структура сложного синтаксического целого в карамзинской повести // Труды института языкознания АН СССР. 1954. Т.3. С.90.

<sup>2</sup>Гориков А.И. Язык предшуткинской прозы. М., 1982. С.217–218.

повествовательные планы с преобладанием субъективно-лирического и драматического внутри отдельно взятого жанра или эпизода, особо выделенного писателями в «монументальной истории», говорит об усилении литературно-художественных тенденций в историческом повествовании. Но особое внимание хочется обратить на те моменты в исторических сочинениях Елагина, Сумарокова, Эмина, Карамзина, где объективно-повествовательная линия — не отделена от субъективно-лирической ни композиционно, ни стилистически.

По мнению А.И. Горшкова, в повестях Карамзина, и особенно в «Бедной Лизе», объективно-повествовательная линия выражена сильнее, чем в других повестях. Но, вместе с тем, она подавляется линиями авторских оценок и переживаний персонажей. При этом объективно-повествовательной линии «принадлежит функция сообщения, а функция воздействия передана двум другим линиям. Объективное и субъективное начала в повести существуют раздельно, и каждое требует словесного материала для своего выражения»<sup>1</sup>. Другими функциями сообщения и воздействия достигается разными средствами. Можно с уверенностью сказать, что объективное и субъективное начала существуют раздельно и в первых томах «Истории государства Российского» Карамзина. Объективно-повествовательная интонация отличает и тот момент в «Истории государства Российского», когда Рогнеда хотела «ножом умертвить» Владимира, но «князь проснулся и отвел удар. Напомнив жестокому смерть ближних своих и проливая слезы, отчаянная Рогнеда жаловалась, что он уже давно не любит ни ее, ни бедного младенца, Изяслава»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Горшков А.И. Указ. соч. С.217—218.

<sup>2</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1. Гл. IX. С.126.

Такое изложение события историком не могло не тронуть душу читателя, но вот развязка события, когда Изяслав подает меч отцу, передана Карамзиным с помощью прямой речи самих героев, которая передает переживания персонажей и, безусловно, функцию воздействия: «Тогда юный Изяслав, наученный Рогнедой, подал ему меч обнаженный и сказал: «Ты не один, о родитель мой! Сын будет свидетелем»<sup>1</sup>.

Л.Н.Лузягина также разделяет повествовательные уровни в «Истории» Карамзина, не углубляясь, однако, в «линии», «планы» и их функции. Она справедливо считает, что Карамзин вел повествование на двух «самостоятельных и самоценных уровнях»: «летописном», предполагающим наивный и простодушный взгляд на вещи и собственноисторическом, как комментирующим летописный<sup>2</sup>. В последних томах «Истории» летописный уровень повествования подавляет собственноисторический.

Известно, что повествовательная система в «Истории» оформлялась не сразу и не оставалась неизменной на протяжении двенадцати томов. Постепенно современная точка зрения сменяется древней, летописной, и стирается грань между точкой зрения историка и бесстрастного созерцателя. В последних томах объективно-повествовательная и субъективно-лирическая линии сливаются, вследствие чего совпадают функция сообщения и функция воздействия. По мнению Л.Н.Лузягиной, в последних томах Карамзин отказывается

---

<sup>1</sup>Там же. С.126.

<sup>2</sup>Лузягина Л.Н. Проблемы историзма в творчестве Карамзина — автора «Истории государства Российского» // XVIII век. Л., 1989. Сб.16. С.162.



«от строгой регламентации принципов повествования», т.е. происходит «стирание границ между аналитическим и художническим отношением к историческому материалу»<sup>1</sup>. Использование метода летописного повествования уже как литературного приема позволяет Карамзину в последних томах достичь цельности повествования, плавности. Соблюдение повествовательных планов и их функций происходит в одной повествовательной манере, что позволяет нам говорить о последних томах «Истории государства Российского», что «они написаны как роман и читаются как роман»<sup>2</sup>. Н.И.Тургенев считал одним из достоинств труда Карамзина отсутствие в нем «рассуждений», летописную манеру повествования и наличие «апофеизм»<sup>3</sup>.

Летописная манера повествования у Карамзина подчинена художественным задачам. Функция сообщения и воздействия совпадают. При этом эмоциональное воздействие на читателя оказывалось с помощью эстетически освоенного исторического эпизода. Примечательно, что в первых томах «Истории» наиболее выразительными эпизодами и обладающими сюжетной законченностью и дающими читателю цельность восприятия, являются как раз те, где в повествовании преобладает летописная манера.

Важно отметить, что именно такие, наиболее впечатляющие «случаи» русской истории, Карамзин выбирал и выносил на публичное чтение еще до первого издания «Истории». Таким

<sup>1</sup> Друзьяна Л.Н. Указ. соч. С.52.

<sup>2</sup> Луковский Г.А. История русской литературы. М.; Л., 1941. Т.V. С.98.

<sup>3</sup> Декабрист П.И.Тургенев. Письма к брату С.И.Тургеневу. 1811—1821. М.; Л. 1936. С.172, 182.



образом историк давал этим «отрывкам», имеющим сюжетную законченность, самостоятельную жизнь вне рамок жанра «монументальной истории». Дискретное восприятие Карамзиным истории в период, предшествующий написанию «Истории», было связано с усилением в литературе роли небольших жанровых форм: очерка, повести, анекдота. Карамзин своим творчеством содействовал этой тенденции. Поэтому, на наш взгляд, и в «Истории государства Российского» Карамзин придавал большое значение сюжетной законченности отдельного «случая» и заботился о целостности его восприятия читателем. Заботясь о законченности каждого отдельного «случая», Карамзин в первых томах «Истории» не заботился о стройности и единстве стилевой манеры всего повествования. Поэтому в первых томах обращает на себя внимание «выпячивание» одних эпизодов и «затушеванность» других. Одни «случаи» обладают картинностью, театральностью и просто просятся выделиться в отдельный жанр и быть прочитанными на публике как самостоятельное произведение.

Одним из таких, «выделенных» Карамзиным для публичного чтения эпизодов, была история о нашествии Мамая. Н.М.Лонгинов, не питавший особых симпатий к Карамзину, в письме в Лондон к графу С.Р.Воронцову сообщал о чтении Карамзиным глав о нашествии Мамая и писал, что «если все таково, как эти две главы, то труд будет прекрасным, стиль простой и величественный, без цветистости и большей частью такой же, как и документы, которые цитирует автор из наших архивов»<sup>1</sup>. Обращают на себя внимание последние слова Лонгинова о стиле «таком же», как в документах. Под документами, повествующими о Мамаевом нашествии,

<sup>1</sup>Архив юн.С.М.Воронцова. М., 1882. Т.23. С.362.

следует понимать прежде всего летописи. Поэтому похвала Лонгинова доказывает, что летописная манера повествования, сближавшая «Историю» Карамзина с летописью и достоверность описываемых событий в начале XIX века, больше привлекала образованного читателя, чем «цветки красноречия» и художественный вымысел. Эстетическая ценность исторического факта уже могла быть оценена по достоинству «любителями истории».

Обратимся к повествованию о нашествии Мамаю. В нем еще нет единой стилистической выдержанности, как в последних томах. В некоторых местах повествование распадается на «уровни» и «планы», но сам отрывок о нашествии Мамаю читается как целостное сюжетное повествование, объединенное фабулой и героями. Художественная выразительность в нем достигается, главным образом, путем повествования как бы от лица очевидца событий. «В тот час, когда полки с распущенными знаменами уже шли из Кремля в ворота Флоровския, Никольския и Константино-Еленския, будучи провождаемы Духовенством с крестами и чудотворными иконами, Великий Князь молился над прахом своих предместников, Государей Московских, в церкви Михаила Архангела, воспоминаая их подвиги и добродетели. Он нежно обнял горестную супругу, но удержал слезы, окруженный свидетелями и сказав ей: «Бог наш заступник!» сел на коня. Одне жены плакали. Народ стремился велед за воиством, громогласно желая ему победы. Утро было ясное и тихое: оно казалось счастливым предзнаменовением»<sup>1</sup>.

Эмоциональное воздействие на слушателей Карамзина могла оказать сдержанность интонации, которая, вместе с тем, передавала величайшее напряжение драматического момента.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История... Т. V. Гл. I. С. 36 – 37.

когда князь Дмитрий собирается выехать с войском навстречу Мамаю, зная, что ему предсказана победа, но через страшное кровопролитие и смерть многих православных<sup>1</sup>. Конечно, в этом отрывке можно еще заметить прием, характерные для творческого метода Карамзина—писателя. Несомненно, что в эпизоде объективно—повествовательная и субъективно—лирическая линии совпадают, так же как функция сообщения и функция воздействия. Сравним с повествованием об избрании Годунова в цари из X тома «Истории»: «В сию ночь не угасали огни в Москве: все готовилось к великому действию — и на рассвете, при звуке всех колоколов, подвиглась столица. Все храмы и дома отворились: Духовенство с пением вышло из Кремля, народ в безмолвии теснится на площадях. Патриарх и Владыки несли иконы знаменитыя славными воспоминаниями (...), за ними устремились и все жители Московские, граждане и чернь, жены и дети, к Новодевичьему монастырю, откуда, также с колокольным звоном, вышесли образ Смоленской Богоматери на встречу Патриарху: за сим образом шел Годунов, как бы изумленный столп, необыкновенно-торжественным церковным ходом; пал ниц пред иконою Владимирскою обливаясь слезами и воскликнул: «О мать Божия! что виною твоего подвига? Сохрани, сохрани меня под сению Твоего крова!» (...) Собором отпев Лигургию, Патриарх снова и тщетно, убеждал Бориса не отвергать короны: велел нести иконы и кресты в келью Царицы: там со всеми Святителями и Вельможами преклонил главу до земли... и в то самое мгновение, по данному знаку, все бесчисленное множество людей, в кельях, в ограде, вне монастыря, упало на колени, с воплем неслыханным: все

---

<sup>1</sup>Там же. С.36.

требовали Царя, отца, Бориса! Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика»<sup>1</sup>. Этот эпизод обладает сюжетной завершенностью. Насыщенность повествования подробностями события создает у читателя иллюзию «присутствия». Тот момент, когда это событие происходило, как бы совпадает с моментом прочтения о нем.

Кажется, что Карамзин выдумывает самые впечатляющие подробности, например, о том, что матери побросали своих грудных младенцев, но нет. Следуя за «рукописной Грамотой», он повторяет ее свидетельство: «жены ссуших младенцев на землю со слезным рыцанием пометаху»<sup>2</sup>.

В последних томах «Истории» Карамзин «принципиально отказывается от своего личного, «просвещенного» взгляда на легендарные события и обстоятельства. Задача Карамзина теперь не просто проиллюстрировать «дух эпох», но объективно воспроизвести его в своем рассказе, раскрывая тем самым определенший тип мировоззрения, исторически сложившееся сознание»<sup>3</sup>.

В связи с выделенными нами особенностями повествовательной манеры в «Истории государства Российского», хочется обратить внимание на то, что структура первых томов напоминает структуру средневековой летописи, в которой подобные записи сочетались с летописными рассказами, княжескими повестями и элементами житийной литературы, где был усилен повествовательный элемент. В последних томах

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. История... Т.Х. Гл.III. С.134.

<sup>2</sup>Там же. Примечания. Т.Х. Гл.III. № 397.

<sup>3</sup>Лузяншина Л.Н. История государства Российского и «Борис Годунов»... С.54.

«Истории» все повествование становится более «однородным», близким к летописному, но и в них мы можем выделить более эпические сюжеты. Именно такое дискретное построение «Истории» и позволяло современникам Карамзина и последующим поколениям критиков видеть в этой дискретности с преобладанием в отдельных сюжетах летописной манеры повествования художественную особенность историографического сочинения Карамзина. И.И.Давыдов в своей работе «Взгляд на Историю государства Российского Карамзина со стороны художественной» (1855), выделяя «художественные стороны» карамзинского сочинения, называет «творческий отбор» «случаев» и «характеров» как наиглавнейшую особенность художественного метода писателя: «Историк не летописец: он должен из множества событий избрать то преимущественно, которое состоит в связи с природою человека вообще (...) Занимательность исторического рассказа зависит от умения избрать середину между кратким, быстрым повествованием и рассказом обильным, теряющимся во множестве подробностей»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Давыдов И.И. Взгляд на Историю государства Российского Карамзина со стороны художественной//Известия II-го Отделения Императорской АН., Спб., 1855. Т.IV. С.41 –42. (Выделено мной. — Д.Н.)

Выборочность подхода к историческому материалу, с точки зрения И. Давыдова, характеризует именно художественный метод Карамзина: «Историк слегка касается происшествий неважных, и останавливается на тех, которые сами собою или по своим последствиям заслуживают тщательного рассмотрения. Здесь нужен приличный выбор обстоятельств (...) только разумно избранные подробности привязывают читателя и занимают; они то развивают в сочинении жизнь и дают ему цветность: они представляют воображению происшествия, как бы совершающиеся пред нашими глазами»<sup>1</sup>. Несмотря на некоторую односторонность взглядов Давыдова, мы находим в его сочинении характеристику художественных особенностей исторического сочинения, которую он никак не связывает ни с летописной традицией, ни с собственноисторической, повторяющей летописную в основных чертах на новом витке истории. Таким образом, считая справедливыми высказывания Давыдова о том, что указывает нам на художественность «Истории» Карамзина, мы должны учитывать преемственность традиции, в результате которой летописные особенности в собственноисторической литературе нового времени через отрицание их и забвение, историками второго поколения в конечном итоге возвращаются в историческую литературу как признаки художественности.

Интересным представляется для нас перечисление Давыдовым самых сложных и занимательных эпизодов в «Истории» Карамзина. Именно эти эпизоды сам Карамзин выбирал для публичного чтения.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 44.

«Карамзин в отношении художественном был бы первым из историков. Для образца я указал бы на его изображение трех моментов царствования Бориса Годунова: 1) венчание его на Царское; 2) состояние духа Борисова при быстрых успехах Самозванцев; 3) кончина Годунова: прочел бы то, что сам Историограф читал Александру Благословенному: об ужасах Батыева нашествия о подвигах героя Дмитрия Донского. Сюда принадлежат места, изумительно художественныя каковы: Шуйский пред Королем Польским, смерть Ляпунова»<sup>1</sup>. Давыдов сам выбирает самые художественные эпизоды в «Истории» Карамзина, не разделяя их по томам. Объединяют эти сюжеты то, что они выделяются из всего повествования благодаря летописной манере повествования, подразумевающей взгляд на событие очевидца.

Можно сказать, что летописная манера повествования, подразумевающая взгляд на события очевидца, кладется в основу художественного повествования.

Через отрицание эстетической значимости летописного повествования русская историография в «Истории государства Российского» вернулась к нему на новом этапе, восприняв, уже как литературный прием, как средство художественного выражения.

Если говорить о связи жанра и метода повествования, то следует учитывать процесс «разложения» летописи в XV—XVII веках под влиянием малых жанровых форм, о чем говорилось выше. Но влияние на летопись повествовательных жанров не было односторонним. Метод летописания сказался и на жанре, который изнутри и извне нарушал целостность самой летописи, а

---

<sup>1</sup>Там же. С. 47.

именно на историческую повесть. Д.С.Лихачев отмечал, что «в большинстве случаев, несмотря на резко отличительную от летописи форму, исторические повести рассматривались и самими авторами, и их читателями как своеобразные летописи: они постоянно дополнялись совершенно так же, как дополняются летописи документами, частями, продолжающими основное повествование и чисто летописными заметками»<sup>1</sup>. По мнению исследователя, исторические повести — «это своеобразные своды, построенные в композиционном отношении так же, как строятся своды летописные». Если метод построения исторической повести в XV—XVII веках был перенят из летописи, то естественно предположить, что и метод повествования в повести мог сохраняться летописный, поскольку «всякий повествовательный сюжет в русской средневековой литературе рассматривался как исторически бывший как нечто, чему свидетелем был сам автор или те, от кого он слышал его, или у кого читал»<sup>2</sup>. Примечательно, что взаимовлияние летописи и исторической повести было отмечено и одним из первых отечественных теоретиков жанра повести Н.И.Надеждиным, который, рассуждая об исторической повести, пришел к выводу, что она есть «изображение жизни как сцепления действий» и, кроме того, повесть «наравне с историческим романом, подчиняется строгим условиям политической истины, есть настоящий эпизод истории в лицах»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Русские летописи... М.: Л., 1947. С.382.

<sup>2</sup>Там же. С.8.

<sup>3</sup>Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С.327.



В характеристике повести, данной Надежлиным, следует выделить две позиции. В первой сообщается, что повесть строится на «сцеплении действий», что наводит нас на мысль о летописном построении повести, ее дискретном характере, а во второй позиции историческая повесть представляется критику как часть целого — «эпизод истории». Рассуждения Надеждина относятся вообще к жанру исторической повести, не ограничиваясь хронологическими рамками. Значит, летописное влияние на повесть сохраняется и в XVIII, и в XIX веках. И мы можем отметить амбивалентный характер исторической повести как жанра — с одной стороны, она является выделенным из исторического целого и разрушающим это «целое» (летопись XV—XVII вв. или жанр монументальной истории XVIII века) эпизодом истории, а с другой, воспринимает от летописи и принцип построения («свод»), и метод повествования (взгляд на событие очевидца). Следует также помнить, что в основе создания жанра «монументальной истории» XVIII века лежал принцип «собирания» источников. В.Татищев и Г.Миллер при помощи «любителей истории» собирали исторические «случаи» и «моменты», а потом «вставляли» их в историческое повествование, сцепляли один эпизод с другим, искали причинно-следственные связи между ними. «Собиранье» и «сцепление» отдельных исторических сюжетов в XVIII веке наложилось на принцип построения древнерусской летописи, в результате чего и средневековая летопись, и монументальная история XVIII века носили многожанровый характер.

Итак, в основе каждой такой жанровой единицы, составляющей монументальную историю, будь то повесть, очерк или анекдот, лежит либо подлинное свидетельство очевидцев<sup>1</sup>, либо литературная имитация такого свидетельства.

<sup>1</sup>И.С.Тихачев, перечисляя случаи образования летописной формы, называет в том числе и устные предания.

Тихачев И.С. Русские летописи. С.114.

Такие отдельные исторические эпизоды в исторических сочинениях историографов XVIII века обнаруживали связь с пространственными искусствами — с драматургией и живописью. Стремление к созданию у читателей прозаических жанров зрительного образа опиралось на тезис Буало: «Волнует зримое сильнее, чем рассказ», поэтому драматургическая поэтика вполне соответствовала общелитературным тенденциям XVIII века, и способствовала появлению новых средств художественной выразительности в прозе<sup>1</sup>.

З.В.Лукичева среди прозаических жанров, использующих драматические компоненты, выделяет правописательный очерк, появившийся на страницах «Трудолюбивой пчелы» А.П.Сумарокова, а затем в журналах Н.И.Новикова<sup>2</sup>. Этот жанр складывается «в форме воссоздания жизненной ситуации, сценки, «зарисовки с натуры». При этом «повествователь» часто оставался в роли стороннего наблюдателя и был сродни театральному зрителю. Лукичева отмечает признаки сценичности в памфлетной статье Сумарокова «О неестественности», в которой автор создает сатирическую сценку, наблюдая в окно похоронную процессию и фиксируя поведение ее участников<sup>3</sup>. Кукушкина, в свою очередь, отмечает, что «принцип изображения сатирической оценки как бы стороны, без

<sup>1</sup>Этой проблеме посвящена статья:

Кукушкина Е.Т. О драматургическом компоненте в прозе XVIII века/XVIII век. Сиб., 1991. Т.17. С.48—60.

<sup>2</sup>Лукичева З.В. К вопросу о возникновении русского правописательного очерка//Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1980. Вып. 4. С.10.

<sup>3</sup>Лукичева З.В. Указ. соч. С.7.

вмешательства рассказчика в ее ход, даже если рассказ ведется от первого лица, характерен также для многих очерков, опубликованных на страницах «Всякой всячины»...<sup>1</sup>

Творческий опыт Сумарокова–драматурга отразился и в его исторической прозе. Исключив «сюжетный интерес» к героическому прошлому своих предков, А.П.Сумароков использует в своих исторических опытах жанр исторической повести, либо «летописи», которые в его представлении не имели ничего общего с романом и современной ему литературой<sup>2</sup>. Использование в названиях этих сочинений слов «повесть» и «летопись» оберегало Сумарокова от упреков в приверженности к повествовательной прозе, так как эти жанры не воспринимались как литературные. Вместе с тем, в исторических опытах Сумарокова имеют место те же принципы воссоздания исторических ситуаций, как и в его сатирических очерках с использованием драматургического компонента, когда повествователь, как сторонний наблюдатель, следит за действиями своих героев со стороны, угождая театральному зрителю. Эффект присутствия возникает тогда, когда в повествование были включены детали и подробности, известные только очевидцу и нет никакого авторского комментария. Другими словами, объективно-повествовательная и субъективно-лирическая линия в повествовании совпадают, одновременно рассказывая читателю о событии, и эмоционально воздействуя на него. Такая повествовательная манера не характерна для всего исторического повествования Сумарокова.

<sup>1</sup>Кукушкина Е.Д. Указ. соч. С.49.

<sup>2</sup>Сумароков А.П. Сокращенная повесть о Стеньке Разине. Спб., 1774.

Сумароков А.П. Краткая московская летопись. Спб., 1774.

Сочинения Сумарокова отличаются неоднородностью повествовательной интонации, но в них можно выделить отдельные эпизоды, обладающие сюжетной завершенностью, выдержанные в одной повествовательной манере как бы от лица очевидца.

Так, например, в повести Сумарокова «Первый главный стрелецкий бунт бывший в Москве в 1682 году в месяце Майе» (1768) встречается большое количество авторских рассуждений политического плана, которые придавали всему повествованию публицистичность: «Рабам принадлежат рабоподобная покорность; сынам отечества попечение о государстве. Монарху власть. Истине предписание законов. Вот основание общенародного российского благостояния»<sup>1</sup>. В то же время в повести есть эпизоды, которых отличает иная повествовательная манера. Сумароков как бы останавливает историческое время и задерживает свой взгляд на каком-то событии. Повествователь в таком эпизоде выступает, как правило, в роли стороннего наблюдателя. Среди таких эпизодов, из которых состоит «Первый стрелецкий бунт», можно назвать сцену, когда «Милославский повязывал себе голову платком по женски и сажился на крыльях, будто он боярыня какая, и будто от Нарышкиных бита, приводя стрельцов ко сожалению»<sup>2</sup>.

Сцена описана живо, а достоверность изображаемого события подкрепляют подробности (платок на голове Милославского), которые мог увидеть только очевидец. Именно этот эпизод Сумароков почерпнул из исторического источника и несколько не украсил его. Возможно, поэтому он и выделяется из всего повествования. За эти невымышленные подробности упрекал А.Сумарокова его оппонент Ф.Эмин.

<sup>1</sup>Сумароков А.П. Первый и главный стрелецкий бунт бывший в Москве в 1682 году в месяце Майе. Спб., 1768. С.5.

<sup>2</sup>Сумароков А.П. Указ. соч. С.4.

Как известно, Ф.Эмин из своего исторического труда постарался исключить всякое собственно—летописное повествование, заменив его «перифразисом летописи», насытив историю вымышленными событиями и речами исторических героев, украсив «слог» в соответствии с требованием современной литературной эстетики. Тем не менее, Эмин ухватился за этот прелестный эпизод у Сумарокова, чтобы упрекнуть писателя в искажении исторической истины: «Сие описание мне кажется быть сомнительным, как потому, что Мирославский, по описанию Никона и прочих, в то время будущи. Царский сродственник и хитрец, столько был знатен, что все стрелецкие начальники знали его в лицо; так по причине той, что он тогда имел около пятидесяти лет, как то современные ему Писатели свидетельствуют, имел усы и бороду, которые признаки, кажется, довольно мужчину от женщины отличить могут»<sup>1</sup>.

Эмин прагматично развенчивает сумароковский сюжет. Он выступает как историк и критикует Сумарокова тоже как историк, в основе исторического сочинения которого должен быть положен критерий «правдоподобия». Эпизод с Мирославским происходит из устного предания и вероятность его могла быть подвергнута сомнению, но художественная выразительность самого эпизода, видимо, и привлекла внимание Сумарокова—писателя, для которого этот «случай» вполне мог лечь в основу сатирического очерка.

А.П.Сумароков, в свою очередь, критиковал Ф.Эмина за обилие в его сочинении вымышленных подробностей. Так, в «Примечаниях на ответ господина генерал майора Болтина, на письмо Князя Шербатова, сочинителя Российской истории» — полемическом сочинении публицистического характера — М.Шербатов упоминает разговор своего отца с

<sup>1</sup>Эмин Ф. История. Т. III. Предисловие. С. XV—XVI.

А.П.Сумароковым, содержащее которого передает читателям: «Не мог я удержаться, чтобы не сказать то, что я слышал от родителя моего о рассуждении Александра Петровича Сумарокова по причине Российской истории Еминым; он на вопрос его о сей истории ему сказал «что он ее не любит за то, что в ней много подробностей. Емин хочет нам сказать, какое в который день Рюрик надевал платье, какие у него были на нем пуговицы, и кто ему шил, а потому и поаает причину думать, что он выдумки свои шипет, а не историю. Верьте мне, продолжал он, когда вы много в древности найдете обстоятельств, то без сомнения заключите, что половина тут лжи. Мы живши в Москве, обращаясь с лучшими людьми и народом, не знаем, что в Петербурге делается, а Емин нас хотел уверить, что безграмотного, а по крайней мере не с просвещенного века все почти нам верно и обстоятельно предложено. Мне истинно простота и самые упущения Нестеровы, являются вероятнее подробностей и величества Тита Ливия»<sup>1</sup>.

К сожалению, нет других свидетельств, подтверждающих истинность этой беседы, но для нас важно, что Сумароков видит в излишних деталях и подробностях приметку творческого вымысла. Сумароков-писатель не мог допустить сюжетности и занимательности в историческое сочинение, и поэтому-то для него сами «упущения Нестеровы» являются «вероятнее» таких подробностей. Но, а если эти «подробности» пришли к нам из самой истории, через известные предания и воспоминания современников, как это было, допустим, с историей о Мирославском, где курьезные детали не являлись плодом фантазии Сумарокова?

---

<sup>1</sup>Шербатов М.М. Примечания на ответ господина генерал-майора Болтина, на письмо Князя Шербатова, сочинителя Российской истории. М., 1792. С.68.

В самом деле, Сумароков не стремился переименовать летописное сказание, он не отвергал летописную манеру повествования. В нашей работе уже говорилось о том, что Сумароков под влиянием Миллера и Щербатова превращался из «любителя истории» в подлинного ценителя исторических древностей. Безусловно, он использовал исторические сюжеты в целях воспитания и просвещения дворянской «фронды». Он выбирал их исходя не из эстетических критериев, а из воспитательной значимости события. Историческая повесть или «летопись» Сумарокова, как уже говорилось ранее, «разбавляется» отдельными, остановленными кистью писателя, «случаями». Таким образом, перед нами характерная примета исторической повести, которая заключена в дискретности повествовательной манеры, так как повесть, как и летопись, строилась по принципу «собираения» и «сплеения» отдельных исторических «документов» и «случаев». В основе некоторых таких «случаев» лежит сюжетная завершенность и повествовательная манера очевидца. «Случай» с Милославским обладает статичностью (вспомним «моменты» у Карамзина как остановку во времени) и вызывает у читателя зрительную иллюзию.

«Картищность», т.е. некоторая остановка и внимательное «разглядывание» предмета изображения сочетается у Сумарокова в повести «Первый стрелецкий бунт...» с «театральностью» другого эпизода, обладающего единой повествовательной манерой и сюжетной завершенностью. Это история с неким дворянином Сунбуловым, который выступал против возвышения на царство Петра I, надеясь получить от Софьи боярство, а когда же на престоле оказался Петр, Сунбулов постригся в монахи в Чудовом Монастыре. Центральный «момент» истории о Сунбулове заключается в вопросе Петра I и в ответе Сунбулова. Когда Петр I был на службе в этом монастыре, Сунбулов боится пройти «мимо государя, прогневанного собою» — «таковы были слова его; ибо



он уже покаяться и приняв образ ангельский, не получив в образе дьявольском ожидаемого награждения». Тогда Петр спросил, почему он не хотел его на царство: «Сунбулов ободренный отвечивал: Иуда Христа за тридцать серебрянников предал, быв учеником его, а я твоим. Государь, учеником никогда не бывал; так чему дивиться, что я тебя предавал мелким будучи дворянином за Боярство...»<sup>1</sup>. Заключительная фраза, следующая за словами Сунбулова принадлежит Сумарокову и является его приговором сказанному Сунбуловым: «... ответ разумного и мерзкого человека»<sup>2</sup>. Сравним эту фразу с названием исторического анекдота, приведенного С.Глинкой в его собрании анекдотов: «Остроумный ответ Петру I Архирея Стефана Рязанского». В названии этого анекдота заложена традиционная для жанра краткая оценка того, о чем пойдет речь в самом анекдоте. История с Сунбуловым действительно «просится» в исторический анекдот не только потому, что заключительная фраза подошла бы для названия. Дело в том, что этот эпизод построен на диалоге двух исторических личностей. Солью эпизода является ответ «разумного», но «мерзкого» человека дворянина Сундукова. Композиция эпизода совпадает с композицией исторического анекдота, построенного на «умном», «остроумном», «дерзком» ответе или просто фразе какой-нибудь исторической персоны. Например, анекдот Глинки об Архирее Рязанском строится следующим образом: указание на место события, вопрос Петра, остроумный ответ архирея<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Сумароков А.П. Указ. соч. С.16.

<sup>2</sup>Там же. С.17.

<sup>3</sup>Глинка С. Русские анекдоты военные, гражданские и исторические, изображающие свойства и знаменитые деяния Русских... М., 1811. Ч.1. С.7—9.



Признаки анекдота, как жанра, сформировавшиеся в недрах русского летописания, с одной стороны, а с другой — под влиянием европейского анекдота, были сформулированы в XIX веке Н.Гречем: анекдоты — «самые краткие повести (...) из коих истинные принадлежат истории»<sup>1</sup>. «Свойство слога их есть краткость, ясность, простота. В анекдотах острое слово или неожиданный оборот должен находиться в конце»<sup>2</sup>. По этим признакам мы можем назвать эпизод с Сунбуловым историческим анекдотом, который еще не выделился из повести, но впоследствии приобрел самостоятельное существование уже вне сочинения Сумарокова. Дело в том, что известный собиратель и издатель анекдотов И.И.Голиков использовал в своем собрании анекдотов о Петре анекдот о Сунбулове, ссылаясь именно на «Стрелецкий бунт» А.П.Сумарокова. Истинность этого сюжета не подверглась Голиковым сомнению, и он использовался им как исторический достоверный источник, вероятно, потому, что в основе анекдота лежит устное предание, в которое традиционно верили.

Возвратимся к вопросу о том, какая повествовательная манера лежит в основе исторических эпизодов, способных выделиться из исторического повествования и обрести самостоятельное существование в рамках модных жанровых форм: очерка, анекдота, повести.

Рассматривая влияние драматургической поэтики на жанры XVIII века, Е.Д.Кукушкина обращается к тем жанрам, в основе которых лежит прямая речь персонажей, в частности, в жанре

---

<sup>1</sup>Греч Н. Учебная книга русской словесности. СПб., 1844. Ч. 3. С. 386.

<sup>2</sup>Там же.

«разговора», нашешшего место на страницах журналов «Трудолюбивая пчела», «Невинное упражнение», «Полезное увеселение», «Копелек» и т.д.<sup>1</sup>

Исследователь отмечает в жанре «разговора» одну устойчивую особенность: «Завязкой служит сообщение издателя о том, что он был свидетелем «странных и любопытства достойных разговоров», которые, «пришед домой, написал», теперь передает на суд читателей»<sup>2</sup>. Другими словами, «разговоры» подаются читателю словно выхваченные из реальной жизни, подслушанные сторонним наблюдателем сценки»<sup>3</sup>. Таким образом, повествование ведется от лица очевидца разговора. Разговор, который произошел между Петром I и Сунбуловым, был также кем-то подслушан, в результате чего у читателя возникала иллюзия присутствия при нем. Как уже было сказано ранее, И.И.Голиков использует в своем собрании анекдотов о Петре анекдот о Сунбулове, ссылаясь именно на «Стрелецкий бунт» Сумарокова<sup>4</sup>. Таким образом, сомнение «историка второго поколения» А.Сумарокова используется историком «третьего поколения» И.Голиковым как исторически достоверный источник.

Итак, в основе повествования приведенного нами анекдота лежит «разговор». Содержанием анекдота всегда является «случай», связанный с исторической личностью. Анекдоты могли быть описательными, т.е. речь шла о каком-то «случае», главным действующим лицом которого был исторический герой.

<sup>1</sup> Кукушкина Е.Д. Указ. соч. С.55.

<sup>2</sup> Там же. С.56.

<sup>3</sup> Там же. С.56.

<sup>4</sup> Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1837. Т.1. С.16.

а могли нести в себе драматургический компонент. Учитывая влияние жанров изобразительного искусства («картинность» и статичность в изображении отдельных «случаев») и драматургии (усиление влияния прямой речи персонажей) на жанры повествовательной прозы в XVIII веке, мы не можем не учитывать, что многие анекдоты «обрели» свою сюжетность в повествовательной ткани жанра моументальной истории. Вместе с тем, наряду с вымышленными речами исторических личностей, в летописных «сводах» нового времени продолжали функционировать и летописные «речи» князей и послов.

В средневековой летописи большое внимание летописец уделял прямой речи героев. Прямая речь героев, зафиксированная в устном предании, означала для летописца признак точности, т.к. «летописцы не выдумывали «речи» послов, а записывали слышанное»<sup>1</sup>. А «слышанное» становилось в летописи гарантом истины. «Русский обычай «ссылаться речми», а не грамотами, был очень прочным. Хотя происхождение его восходит, несомненно, к дописьменному периоду истории Руси, но тем не менее и позднее, даже спустя несколько веков после введения письменности, русские послы по-прежнему изустно говорят порученные им «речи», не занося их на грамоты»<sup>2</sup>. Такой сильной была традиция, а вера в достоверность услышанного была еще сильнее.

Кроме того, по функции, которую выполнял анекдот в тексте «моументальной истории», его можно сравнить с летописным рассказом, в котором летописец особенно подробно «описывает» событие, свидетелем которого летописец не был и поэтому использует для передачи этого рассказа устное эпическое

<sup>1</sup> Дихачев Д.С. Русские летописи... М.: Л., 1947. С.124.

<sup>2</sup> История русской литературы X—XVII веков. М., 1980. С.75—76.

предание. «В каждом таком рассказе в центре — одно событие, один эпизод, и именно этот эпизод составляет характеристику героя, выделяет его основную, запоминающуюся черту...»<sup>1</sup>. Как отмечает Д.С.Лихачев, «герои таких рассказов отличались необыкновенной силой, мудростью и хитростью. Почти в каждом таком рассказе налицо эффект неожиданности»<sup>2</sup>. Эти признаки летописного рассказа являются определяющими как в исторической повести, так и в жанре исторического анекдота.

Как уже ранее отмечалось в нашей работе, историки «второго поколения» относились с большим доверием к эпическим жанрам, в основе которых лежали устные предания (былины, песни, сказки), нежели чем к собственнолетописным свидетельствам. Термин «анекдот» употреблялся в XVIII веке для обозначения таких деяний или происшествий, которые не были еще напечатаны.

На формирование жанра русского исторического анекдота повлияла и европейская традиция, в результате чего под анекдотом стала пониматься «сначала устная, а затем и письменная фиксация каких-то поступков, высказываний и вообще событий жизни выдающихся людей». Доверие устному источнику в среде историографов сохранялось вплоть до начала XIX века. На наш взгляд, и признание мифа как «порождения своей эпохи» у Карамзина было подготовлено особым отношением историков к устному преданию, которое лежало в основании любого мифа. Свидетельства очевидцев признавались наравне с летописными свидетельствами. Историк «первого поколения» Г. Ф.Миллер в «Опыте новейшей истории о

<sup>1</sup>История русской литературы X—XVII веков. М., 1980. С.75—76.

<sup>2</sup>Там же.

России», когда не находит в летописи подтверждение словам очевидцев событий смутного времени Петрея и Маржерета, задается вопросом: «Должно ли для того о правде онаго сомневаться?» И сам отвечает: «Никак. Ибо Петрей и Маржерет были очевидными свидетелями»<sup>1</sup>.

Итак, свидетельство очевидца с первых шагов русской историографии рассматривалось как достоверный исторический источник. Однако отношение к анекдоту в историографии постепенно меняется.

В конце XIX века историк П. Пекарский, рассуждая о сборнике анекдотов Якоба Штелина, отмечает другую особенность свидетельства очевидцев: «Этот сборник анекдотов любопытен потому, что по нем историку можно судить, как слагаются легенды о замечательных людях и как в том часто участвуют даже их современники, иногда даже не подозревая, что в своих рассказах применяют они более вымыслов и забывают истину»<sup>2</sup>.

Историографическая наука в XIX веке уже не могла доверять, как прежде, свидетельству очевидца. Использование анекдота как достоверного исторического источника подвергалось пересмотру Н.М. Карамзиным.

Проследим, как меняется взгляд Карамзина на анекдот с 1803 года до 1820. В издании «Писем русского путешественника» 1803 года Н.М. Карамзин рассуждает о необходимости собрания Российской истории и предлагает метод, с помощью которого

---

<sup>1</sup>Мидлер Г.-Ф. Опыт новейшей истории о России//Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащих. 1761. Январь. Кн.1. С.148. (Выделено мной. — Д.Н.)

<sup>2</sup>Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге. Спб., 1870. Т.1. С.559.

следует подходить историку к русской истории: «Что не важно, то сократить, как сделал Юм в Английской Истории; но все черты, которые означают свойства народа Русского, характер древних наших Героев, отменных людей, /собственно так называемые анекдоты собрать/ описать живо, разительно»<sup>1</sup>. В основе этого метода лежит «выбор» и «собираание» «случаев» и «характеров» русской истории. Но нас в этой редакции интересует упоминание Карамзиным анекдотов, как источников для предполагаемого исторического сочинения. В издании «Писем» 1820 года Н.М.Карамзина из этого предложения исчезает «анекдот»: «...характер древних наших Героев, отменных людей, /происшествия действительно любопытныя/ описать живо, разительно»<sup>2</sup>.

На наш взгляд, в этой замене заключен особый смысл. В начале XIX века достоверность перестает восприниматься как отличительная черта анекдота. Изменившееся отношение к анекдоту Карамзина свидетельствует о том, что в 1803 году Карамзина как писателя могла привлечь в анекдоте манера повествования от лица очевидца события. Эта манера повествования, как уже говорилось выше, легла в основу жанров повествовательной прозы — исторических очерка и повести, выделившихся из монументальной истории. Но в 1820 году Карамзин уже как историк не мог утверждать, что в основе анекдота лежит действительное происшествие. Но анекдот, как и миф, стал восприниматься Карамзиным как порождение нравов того времени, к которому он относится.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С.253. С.442 (дополнения). (Выделено мной. — Д.Н.)

<sup>2</sup>Карамзин Н.М. Указ. соч. С.253. (Выделено мной. — Д.Н.)

Уже в конце XVIII века манера повествования от лица очевидца событий, уже как литературный прием, используется в начале XIX века в сочинениях художественной литературы на историческую тему. Анекдоты, изданные на рубеже XVIII—XIX веков, никогда не были стенограммой услышанных рассказов. Мы можем говорить, скорее, о их «литературной записи»<sup>1</sup>. Кроме того, в сборниках анекдотов, например, у Якоба Штелина, всегда указывался источник информации, создавая тем самым особую атмосферу достоверности. Штелин называет имена известных людей, от которых услышал анекдот, и обрисовывает «подлинную ситуацию», в которой оказывались ее очевидцы. Штелин в предисловии к собранию «Подлинных анекдотов о Петре Великом» особенно настаивает, что цель издания — сохранить свидетельства современников Петра о царе, «пока живы люди, обставившиеся с Петром... чтобы они не ушли и не унесли истории о Петре»<sup>2</sup>.

В конце издания анекдотов Штелин располагает список свидетелей по алфавиту. Штелин приводит в конце анекдота «Петра Великого своеручнаяковка нескольких железных полос» известие об очевидце увиденного — Петра Миллера, «железного заводчика, который был в тот самый день при Царском дворе в Москве»<sup>3</sup>. В разделе «Свидетели» Штелин еще раз называет Миллера, и обрисовывает возможные ситуации, в которых Петр

<sup>1</sup>Малиновский К.В. «Записка Якоба Штелина о Прутском походе Петра I»//РЛ, 1982, № 2, С.164.

<sup>2</sup>Штелин Якоб. Подлинные анекдоты о Петре Великом, слышанные из уст знаменитых особ в Москве и Спб... М., 1800. Ч.1. С.III.

<sup>3</sup>Там же. С.12—13.

Великий и Петр Мишлер могли встречаться: «Часто разговаривал сей Царь в Москве с сим нужным фабрикангом; а когда на пути своем находился по близости его железных заводов, то редко их миновал»<sup>1</sup>.

Уже в самом названии сборника анекдотов Штелина устанавливается зависимость подлинности устного свидетельства от того, что собиратель их сам слышал от известных в Москве и Петербурге особ — свидетелей событий и он не подвергал сомнению эти свидетельства.

Н.М.Карамзин, безусловно, был знаком со сборниками анекдотов, вероятно, в том числе и с «Подлинными анекдотами» Штелина (первое издание на русском языке — 1793 год). Подлинность этих анекдотов подтверждалась главным образом реальным существованием известных особ, которые их и рассказывали Штелину. Реальное бытие этих рассказчиков, в свою очередь, подтверждалось всевозможными деталями и биографическими подробностями из жизни рассказчиков. (И.Ю.Трубецкой, например, после обеда курил трубку, табак, и рассказывал свои истории.)

Можно с уверенностью сказать, что в своей повести «Напатья, боярская дочь» (1792) Карамзин пародирует эту манеру убеждать читателя в подлинности сведений, приведенных в анекдотах. В «Напattie, боярской дочери» гарантом подлинности события становится «давно умершая бабушка», с которой повествователь общается в «области теней»: «... и если утримая Парка еще несколько лет не перережет жизненной моей шти, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз мой»

---

<sup>1</sup>Там же. С.239.



памяти. намерен я сообщить любезным читателям одну бльль, или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN»<sup>1</sup>. Ироничные сведения о рассказчице «истории—бльль—анекдота—повести—сказки» указывают читателю, что последующая история родилась в «царстве воображений» и не имеет ничего общего с исторической реальностью.

Следует обратить внимание и на то, что во вступлении к повести Карамзин воспроизводит все «штампы», распространенные в предисловиях к историческим сочинениям XVIII века, а именно, традиционные для предисловия элементы самоуничижения: «худое риторство», «похвальное ремесло мараить бумагу», «взводить небльльницы на живых и мертвых», «испытывать терпение своих читателей», «низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон»<sup>2</sup>. Вероятно, что этот перечень недостатков Карамзин относит на счет исторических сочинений XVIII века, где дурной слог и недостоверные события могли погрузить «слобителя истории» в «глубокий сон».

Исторический анекдот кладется в основу художественного повествования во многих исторических повестях начала XIX века. И хотя эти повести часто отличаются неоднородностью повествовательной манеры, все-таки основную структурную единицу исторической повести составляют анекдоты. Приведем пример.

<sup>1</sup>Карамзин Н.М. Наталья, боярская дочь//Русская историческая повесть. М., 1989. С.27—28.

<sup>2</sup>Там же. С.28. Карамзин дает название и жанру своего вступительного слова к повести: «На несколько минут кладу перо --- и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием!» Этот жанр был характерен для собственноисторических сочинений XVIII века.

Автор многочисленных патристических исторических сочинений Г.В.Герарков свои наиболее известные сочинения строил по принципу спlicing исторических «анекдотов» с законченной фабулой, единой манерой повествования, в центре которых находился героический поступок, остроумная речь или ответ какой-нибудь исторической персоны. Сентиментально-назидательные рассуждения самого автора перемежаются без особого порядка с короткими рассказами, очерками или анекдотами из жизни Дмитрия Донского, К.Минина, Д.Пожарского, А.Меншикова, А.Суворова и других известных и неизвестных, но реально существовавших исторических личностей<sup>1</sup>.

Названия сочинений Гераркова говорят сами за себя: «Герои русские за 400 лет» (Спб., 1801), «Достопамятные происшествия в российской истории с рождения Петра Великого до кончины его» (Спб., 1817), «Князь Меншиков и в ссылке великий человек» (Спб., 1811), «Твердость духа русских» (Спб., 1804, 1813—1814).

Приведем один пример «бытования» анекдота в жанре исторической повести. Говоря об особенностях счастливой судьбы Меншикова, Герарков в подтверждение своих слов приводит анекдот: «... или вы забыли, что когда в особенной Комиссии, где председательствовал князь Василий Владимирович Долгорукий, и где рассматривали дела, касающиеся до Князя Меншикова, по доносам, заготовлено уже было и определено, которым Меншиков осужден на позорную

<sup>1</sup>Надо особенно отметить, что исторический анекдот и бытовой постепенно слились. В результате чего появились анекдоты о великих людях, поставленных в бытовые ситуации, и наоборот, об обыкновенных людях, оставшихся в истории благодаря своему героизму или смекалке.

смерть. Петр взяв в руки определение, спрашивает, что надлежит делать? Князь Долгоруков отвечает: подписать Государь. — Хорошо, сказал великий человек со слезами на глазах. — Я подпишу, и в то же время обратясь ко всем присутствующим, трогательным голосом продолжал: «Где дело идет о жизни или о чести человека, то правосудие требует взвесить на весы безпристрастия, как преступления его, так и заслуги, оказанные им Отечеству и Государю; и буде заслуги перевесят преступления, то в таком случае милость должна хвалиться на суде; однако Я подпишу определение вами заготовленное, но знайте, что жизнь Меншикова сопряжена с Моею; лиша его живота, вы лишитесь Меня». Да живет Князь Меншиков! все громогласно воскликнули»<sup>4</sup>. Перед нами анекдот, из собрания которых и состоит все повествование. Гераков в подзаголовке книги сам указал на источники своего знания о Меншикове: «Исключая военных дел, все основано на изустных преданиях». А поскольку Гераков не был историком, и его не интересовали проблемы исторической достоверности, «то пользовался ли он подлинными свидетельствами очевидцев или создавал их сам — нам неизвестно, т.к. в отличие от Штелина, заботящегося об исторической истине, он и не приводил имена особ, сообщивших ему эти анекдоты. Таким образом, «повествование, основанное на изустном предании», использовалось писателями в начале XIX века уже как литературный прием. Упоминание писателем об устном источнике исторического повествования, благодаря стараниям Я.Штелина и И.Голыкова, должно было вызывать у читателей иллюзию достоверности события, что способствовало наибольшему эмоциональному воздействию. Для авторов

---

<sup>4</sup>Гераков Г.В. Князь Меншиков и в ссылке великий человек. Пет., 1811. С.8–9.

художественных сочинений на историческую тему повествование от лица очевидца событий имело очень большое значение.

Объективно-повествовательная и субъективно-эмоциональная линии в таком типе повествования совпадали. Такого эффекта авторы художественно-исторических сочинений сами достичь еще не могли и пользовались либо подлинными летописями, либо имитировали жанр анекдота. Установка на достоверность в сентиментальной прозе хорошо нам известна. Именно ощущения достоверности изображаемого события могли вызывать у читателя ответное чувство. Поэтому художественно-историческая литература стала использовать доверие к устному преданию в своих целях.

Известно, что в XVIII веке происходило формирование литературных жанров; жанры перетекали друг в друга, более крупные жанры распадались, из них выделялись малые жанровые формы и т.д. Поскольку в середине XVIII века художественная проза только начала формироваться, она не могла не попасть под влияние прозаических жанров собственно исторической литературы, тем более, что историография долгое время сочетала в себе признаки научно-познавательного и художественного. Поэтому в процессе того, как из собственно исторической литературы стала выделяться художественная литература на историческую тему, и под воздействием этого процесса стала формироваться вся повествовательная литература. Выделение «первичных» жанров анекдота, очерка, повести из жанра «монументальной истории» повлияло на формирование этих жанров и вне пределов исторической литературы.

Жанр очерка, анекдота и повести первоначально рассматривались в литературе как исторические, или воссоздающие бывшую в реальности ситуацию. В центре этих жанров находился исторический герой или вымышленный персонаж, помещенный в историческую атмосферу.

Формирование прозаических жанров в русской литературе с 70-х годов XVIII века шло под знаком интереса к исторической личности. Причем, если до этого времени историческая личность представлялась как отвлеченный образец тех или иных побед или поражений, достоинств и недостатков, то в 70-е годы XVIII века появляется интерес к «частному приключению» из жизни героя, демонстрирующему особую человеческую черту его характера. Этот интерес и подготовил интерес общества к историческому анекдоту. С.С.Аверинцев отмечал важность такого явления культуры XVIII века, как подражание Плутарху. Исследователь пишет, что «сама идея монументальной «портретной галереи» великих мужей благодаря бесчисленным подражаниям — всем этим «Немецким Плутархам», «Французским Плутархам», «Плутархам для дам» и т.п., которые в великом множестве появились в XVIII веке, — стало для нас настолько привычной, настолько «само собой разумеющейся», что мы уже не видим в ней историко-литературный факт, заслуживающий особых объяснений»<sup>1</sup>.

Таким образом, с 70-х годов XVIII века на смену «монументальной истории» в России приходит «идея монументальной «портретной галереи», где исторические лица были выписаны в мельчайших деталях. С.С.Аверинцев отмечал, что этот интерес к бесчисленным «Плутархам» в XVIII веке сформирован «веками плутарховской традиции в новоевропейской культуре»<sup>2</sup>. Принимая эту точку зрения, мы тем не менее не можем не учитывать, что интерес к историческому повествованию, будь то «Русский Плутарх» или

<sup>1</sup>Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С.160.

<sup>2</sup>Там же. С.160.

«Сборник исторических анекдотов», был подготовлен процессами, происходившими в России в собственно исторической литературе XVIII века<sup>1</sup>.

Как уже отмечалось ранее, процессы, протекавшие в собственно исторической литературе в XVIII веке, отражали русскую культурно-историческую традицию, истоки которой находятся в литературе Древней Руси<sup>2</sup>.

В XV—XVI века на русскую летопись большое влияние оказал Русский Хронограф. Известно, что его составитель Пахомий Логофет составил огромный сборник всемирно-исторических статей, пользуясь источниками со всего света, а

---

<sup>1</sup>«Русские Плутархи» представляли собой «свод» рассказов и анекдотов об известных деятелях. Как правило, «Русские Плутархи» создавались на основе «французских, немецких» в качестве дополнения к ним. Таким образом, любой «Русский Плутарх» не является завершённым трудом, т.к. его текст с течением времени «прирастает» все новыми и новыми историями из жизни русских национальных героев. Поэтому мы отмечаем открытость «Русских Плутархов», как впрочем и многочисленных «сборников анекдотов», к дополнению и расширению. Результатом этого процесса являлись многочисленные переиздания «плутархов».

См.: Плутарх для юношества или жизнь великих людей всех наций/пер. с фр. Гр. Лубянский. Спб., 1808. Ч.1—8.

Переиздания этого сборника относятся, например, к 1809, 1814, 1815 гг. В 1814 году выходит: Плутарх для юношества или жизнь великих людей всех наций, с присовокуплением жизнеописания знаменитейших Россиян. М., 1814. Ч.1—10.

<sup>2</sup>Мы не исключаем также вероятности влияния плутарховых «жизнеописаний» через Хронограф на русскую летопись в XV—XVI веках.

также русскими летописями и повестями. Изложение истории в Хронографе было подчинено чисто литературным задачам. История являлась лишь занимательным чтением и представляла собой цепь анекдотов. В этих анекдотах важна была нравоучительная сторона и поэтому, по словам Д.С.Лихачева, составитель Хронографа, в отличие от Летописца, был литератором. «Его интересовал не исторический, а назидательный смысл событий. Как человека своего времени, его уже интересовала человеческая психология, его изложение было пронизано субъективизмом, он заботился о риторической приподнятости стиля»<sup>1</sup>. По мнению ученого, «Хронограф сыграл важную роль в выработке повествовательного, литературного стиля исторической прозы второй половины XV—XVI вв.»<sup>2</sup>. В результате влияния Хронографа на летопись, она выделяет из себя «историческое повествование типа Степенной книги, исторических повестей и сказаний...»<sup>3</sup>.

Мы уже говорили об амбивалентном процессе, проходившем в жанре «монументальной истории» XVIII века, когда он размывался под влиянием жанров повествовательной литературы и одновременно из него выделялись жанры, которые в конце XVIII — начале XIX века станут основными жанрами повествовательной прозы.

На наш взгляд, интерес к «словарям историческим», разного рода «Глоссархам» и «сборникам анекдотов» во второй половине XVIII века отражал расцвет индивидуалистической культуры. Этот расцвет отразился и в литературе сентиментализма, где авторы пытались воссоздать характеры людей, приблизив их к

<sup>1</sup>О Русском Хронографе см.: Лихачев Д.С. Русские летописи... С. 332—350.

<sup>2</sup>Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 347.

<sup>3</sup>Там же. С. 423.



современникам, и в широком распространении с 60-х годов XVIII века мемуаристики, в которой нашли отражение индивидуализация сознания и интерес к психологии личности XVIII века. Сначала этот интерес к личности подпитывался сборниками переводных анекдотов. Так, например, обычный для XVIII века сборник анекдотов, который составлял любимое чтение — это «Товарищ разумный и замысловатый, или Собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древнего и нынешнего основ. Перевод с французского» (Спб., 1764. Ч.1—2. 2-е изд. 1787). Особый интерес для нас представляет «Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и Королей, великих полководцев, министров и градоначальников, богов и героев древнего язычества и т.д.», который был переведен с французского «с приобщением к оному деяний и жития Великий Князей и Государей всероссийских и прочих мужеством, подвигами и царованиями отличившихся ко благоденствию и славе Монархов своих и Отечества особ» (М., 1790—1798. Ч.1—14)<sup>1</sup>. Словарь выходил в течение ряда лет в качестве приложения к «Московским ведомостям». Русское издание представляло собой переработку двух французских исторических словарей с добавлением событий, взятых из сочинений В.Татищева, М.Ломоносова, Н.Новикова. Основу статей словаря составляют биографии исторических лиц, где истина обильно перемешана с вымыслом, известие о годах правления Анны Иоанновны соседствовало с известием о Ганнибале.

<sup>1</sup>История этого «Словаря» обстоятельно рассмотрена А.Н.Неустроевым в «Историческом розыскании о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг.». Спб., 1874.



Нам важно отметить, что дискретное восприятие русской истории сказалось и на собственноисторических сочинениях, в которых интерес к отдельным историческим персонам и ситуациям привел к «риторическому распространению» в тексте собственноисторических сочинений историков «второго поколения» XVIII века.

«Риторическое распространение», как явление литературного порядка, происходило под влиянием Хронографа и в средневековой летописи, и в исторической повести. По словам Д.С.Лихачева, «создание пространных редакций первоначальных литературных произведений преследовало не столько задачу риторического украшения стиля, сколько придание повествованию внутренней логики: мотивировок поступков, психологических объяснений»<sup>1</sup>. Таким образом, изменения в тексте летописи происходили в сторону беллетризации повествования в результате влияния Хронографа, в основе которого лежало литературное воплощение исторического характера.

Как мы уже убедились, на становление повествовательной прозы в XVIII — начале XIX вв. оказали влияние те процессы, которые проходили и в средневековом летописании. Прямое или опосредованное влияние летописи (главным образом через метод создания и манеру повествования) можно наблюдать в собственноисторической литературе XVIII века, в частности в жанре «монументальной истории», а также и в жанрах повести, очерка и анекдота, выделившихся из монументальной истории.

На наш взгляд, сочетание летописного метода повествования и устного предания отразилось и в сборниках анекдотов. Якоб Штелин собирал анекдоты о Петре I в течение тридцати лет. Но только в 80-е годы у него возникает потребность опубликовать их. Это очень показательный факт, отражающий общую тенденцию развития исторической мысли в сторону подробного

<sup>1</sup>Лихачев Д.С. Русские летописи. С.351.

рассмотрения исторической личности. Якоб Штелин, собирая анекдоты, обращался к широкому кругу лиц за помощью в пополнении коллекции. В этом он напоминает историографов «первого поколения» Миллера и Галицева. Так же как и они, Штелин не заботился о личной славе<sup>1</sup>, не претендовал ни на роль историка, ни на роль беллетриста. Он тридцать лет старался во славу России, создавая монументальное историческое полотно о жизни Петра I.

Штелин, как и летописцы нового времени, создавал свое сочинение как «свои» «случаев», связанных с жизнью императора. Так же как первые историографы, Штелин желает, чтобы его дело было продолжено: «Что до меня, если я решусь, наконец, напечатать их, у меня не будет никакой иной цели, кроме той, которую я указал в предисловии с самого начала — побудить многих других русских патриотов и почитателей Петра Великого подражать мне на пользу ему и превзойти меня, собирая тысячи других анекдотов, когда они слышат рассказы своих отцов, дедушек и родителей и современников Петра Великого...»<sup>2</sup>. Штелину откликается летописная скромность, летописный способ воссоздания прошлого, когда он записывал свидетельства очевидцев, а не пересказывал их. Для средневекового летописца был очень важен такой способ сообщения о прошлом, как бы из самого прошлого. Открытость его текста для пополнения также указывает нам на связь с традицией летописания. Желание Штелина сбылось, но только

<sup>1</sup>К.В.Малиновский, исследователь исторического наследия Штелина, замечает, что «нет ни одного случая, чтобы у него проскользнуло желание личной славы». Указ. соч. С.167.

<sup>2</sup>Письмо Я.Штелина к М.М.Шербатову (декабрь 1780 года). Цит. по ст.: Малиновский К.В. Указ.соч. С.167.

так, как оно должно было сбыться в России на рубеже XVIII и XIX веков, когда на жанры исторической литературы большое влияние оказывали жанры повествовательной прозы. Как отмечает К.В.Малтиновский, «переиздания Анекдотов после 1793 года начинают обрастать многочисленными апокрифами. Если немецкое издание 1785 года содержит 116, русское издание 1793 года — 142 штетлинских анекдота, то русское издание 1801 года насчитывает уже 176 анекдотов, часть которых не имеет никаких ссылок на источник происхождения и не относится к «штетлинскому собранию»<sup>1</sup>.

Таким образом собрание подлинных анекдотов Штелина оказалось разбавленным вымышленными анекдотами, которые стали все чаще появляться в жанрах повествовательной прозы на историческую тему. Собрание анекдотов Штелина представляет собой единое сюжетное полотно, осмысливающее определенную эпоху, но состоит из отдельных сюжетов этой эпохи, объединенных именем Петра Великого. Такая структура сборников анекдотов, «исторических словарей», «плутархов» и метод их создания очень схематично повторяет метод создания и структуру построения средневековой летописи XV—XVI веков, которая уже испытывала на себе воздействие Хронографа и распадалась на повествовательные жанры.

Таким образом, можно сказать, что трансформация жанров «собственно исторической литературы» происходила с учетом возникшего в читательской среде к концу XVIII века сюжетного интереса к истории и к исторической персоне. «Разложение» жанра «монументальной истории» на жанры анекдота, очерка, повести также было обусловлено этим интересом.

В «Истории государства Российского» Н.М.Карамзин на новом уровне возвращается к жанру «монументальной истории».

<sup>1</sup> Там же. С.168.

Более того, он вызывает к нему читательский интерес, несмотря на то, что до этого, и не без его участия, образованная публика в основном приобщалась к истории посредством жанров анекдота, «сокращенной истории», повести, «Русских Плутархов», «исторических словарей» и т.д.

Можно сказать, что жанр монументальной истории распался под влиянием малых повествовательных жанров и вернулся к жизни в «Истории» Карамзина, уже испытав на себе их влияние.

Многочисленные же сборники анекдотов, «исторических словарей» и «плутархи» при этом являются как бы посредниками в этом возвращении читательского интереса к монументальной истории России.

Таким образом, процессы, протекавшие в средневековом летописании, на новом историческом уровне нашли свое отражение в собственно исторической литературе, что привело к качественно новому результату: объективная манера повествования, близкая к летописной, была воспринята историками «второго поколения» и Карамзиным уже как литературный прием и легла в основу повествовательных жанров русской литературы.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы.

В рамках жанра «монументальной истории» вследствие ориентации историков «второго поколения» на вкусы читателя, а также вследствие усиления индивидуализации творчества в 60—70-е годы XVIII века происходит разделение художественных и научно-познавательных задач, встававших перед сочинителями.

«Задачи» историков «второго поколения» и «требования» читателей собственноисторических сочинений второй половины XVIII века приводились в соответствие с эстетическими критериями классицизма. Но поскольку для прозы классицизм не предусматривал каких-то особых требований в соблюдении стиля, то читатели, а под их воздействием и историки, переносили требования к «слогу» и «предмету» изображения с других жанров (например, драматических) на жанры собственноисторической литературы. Можно сказать, что признаки дихотомии художественного и научно-познавательного проявлялись в том числе и на уровне отношения читателей к историческим сочинениям. С одной стороны, как к источнику исторического знания, где большое значение уделялось соблюдению исторической достоверности, сохранению древнего «наречия» и «малопривлекательного», с точки зрения литературной эстетики, исторического материала. А с другой стороны, как к источнику удовольствия и занимательности. Такой амбивалентный подход к собственноисторическому сочинению привел, в свою очередь, и к разделению критики на историческую и литературную: историки «второго поколения» критиковались современниками либо как писатели, либо как историки. В свою очередь, историки «второго поколения» в своих сочинениях учитывали ту и другую критику.

Стремясь помочь читателям освоить историческое знание, историки «второго поколения» пытались установить причинно-следственную связь между событиями истории. Однако невозможность из-за причин объективного характера это

осуществить привела их к попыткам объяснить поступки исторических личностей с позиции просвещенного человека XVIII века.

Так, в собственноисторических сочинениях Ф.Эмина, И.Богдановича, И.Елагина, А.Сумарокова и др. историков «второго поколения» субъективная авторская мотивация причин исторических событий заняла место самого «факта». Сочинители стали «додумывать» повороты истории, которых наверняка не было, но которые, по их мнению, вполне могли бы быть.

Можно утверждать, что такое «допущение» в историю авторской фантазии было связано с тем, что на смену «достоверному» воплощению истории в сочинениях историков «второго поколения» приходит «правдоподобное», под которым в эстетике классицизма подразумевалось «облагороженное сходство с правдой» (Мармонтель). А поскольку классицисты различали то, что действительно произошло, и то, что могло произойти, а последнее вслед за Аристотелем они относили к сфере поэзии, то можно с уверенностью говорить, что поэтическое «правдоподобие», понятое как «сходство вымысла» с тем, что может случиться в действительности (Готшед), становится основным принципом в изображении исторических событий историками «второго поколения». Таким образом, творческая фантазия в соответствии с этим принципом допускалась и в историческое повествование.

К сфере авторских «допущений» в исторических сочинениях второй половины XVIII века относятся и вымышленные монологи и диалоги исторических деятелей, которые создавались их авторами под влиянием драматургической традиции.

Таким образом, по мере художественного освоения исторического пространства ослаблялась и связь самого сочинения с источниками, и прежде всего, с летописями. Стремление написать «иначе» и чемнибудь отличаться от собратьев по цеху подтверждает преобладание творческих



амбиций и литературных задач в среде историков «риторического направления».

Использование авторской фантазии в историческом повествовании было связано еще и с тем, что от историка требовалось компенсировать или смоделировать заново те исторические события, которые либо безвозвратно остались в прошлом, либо сознательно были выброшены из истории сочинителем как «малозстетические».

Можно с уверенностью сказать, что в сочинениях историков «второго поколения» в основу творческого метода кладется «отбор» исторических сведений, результатом которого является компенсация усеченного летописного материала художественным вымыслом. «Отбор» осуществляется на основании эстетических требований, распространяющихся и на литературу классицизма. Кроме того, «отбор» был ориентирован на читательское восприятие.

Можно сказать, что результатом творческого «отбора» эстетически значимых исторических сведений в собственно исторических сочинениях историков «второго поколения» является «риторическое распространение» «выбранных» исторических «случаев» и «характеров», входящих в жанр «монументальной истории». Вследствие этого отдельные эпизоды русской истории (смерть князя Олега, мщение Рогнеды и др.) как бы укрупнялись, обрастая вымышленными подробностями.

Таким образом, переписывая «летописные своды» нового времени, историки «риторического направления», чтобы как-то отличаться от своих предшественников и соответствовать требованиям главенствующей литературной эстетики, «выбирали», «одушевляли» и «раскрашивали» (Н.М.Карамзин) выбранное ими из исторических сочинений первых историков.

В основу «выбранных» из истории эпизодов сочинителями кладется особая повествовательная манера, напоминающая летописную, т.к. такой отдельный «случай» илагался как бы от

лишь его очевидца, что контрастировало с манерой повествования во всем сочинении, где авторы при оценке событий и его «апофея» нарушали цельность восприятия происходящего. Таким образом, можно сказать, что в недрах жанра «монументальной истории» проходили процессы, разрушающие его изнутри, путем «выделения» из него отдельных эпизодов, которые обладали сюжетной законченностью, художественной выразительностью и единой повествовательной манерой, близкой к летописной.

В результате творческого отбора «риторически распространенные» и эстетически значимые эпизоды истории, еще находясь в составе «летописных сводов» нового времени, были способны обрести самостоятельное существование вне жанра «монументальной истории» в рамках жанров повести, анекдота, очерка, «исторической живописи». Вычленение этих малых жанровых форм из монументально-исторического жанра происходило в 70–80-е годы XVIII века одновременно с усилением роли этих жанров в повествовательной литературе.

Можно утверждать, что именно эти жанры с историческими сюжетами оказали большое влияние на формирование повествовательной прозы в конце XVIII — начале XIX вв. Таким образом, следствием дихотомии художественных и научно-познавательных задач, стоявших перед историками «второго поколения», явилось формирование повествовательных жанров русской литературы.

Важно отметить, что усиление повествовательного элемента в жанре монументальной истории с последующим «разложением» этого жанра в некоторой степени повторяет то, что происходило с летописью в XV—XVII вв., когда летопись утрачивала свое значение и испытывала на себе влияние переводных хронографов, Степенной книги, исторической повести, которые отличались тем, что были посвящены ограниченному историческому периоду или одному историческому лицу.



Дискретное восприятие истории, как «сценеления» отдельных «случаев» и «характеров», было также связано с усилением с конца 60-х годов XVIII века внимания писателей к исторической личности. «Выделение» жанров повести, анекдота, очерка, «картины» из монументальной истории XVIII века также было во многом продиктовано этим интересом.

Н.М.Карамзин своим творчеством оказал большое влияние на этот процесс, т.к. его взгляд на историю, еще до того как он «записался в историографы», отличался дискретностью. Обращение Карамзина к истории находит свое воплощение в жанре исторической повести и исторического очерка. А как известно, «жанр является как бы одним из мостов, соединяющих писателя и читателя», а его «трансформация так или иначе предполагает определенное представление о читателе...»<sup>1</sup>. Поэтому, учитывая ориентацию историков «второго поколения» и особенно Н.М.Карамзина на читательское восприятие, мы можем утверждать, что трансформация жанров собственно исторической литературы происходила с учетом возникшего в читательской среде к концу XVIII века сюжетного интереса к истории и к исторической персоне. «Разложение» жанра «монументальной истории» на жанры анекдота, очерка, повести также было обусловлено этим интересом.

В «Истории государства Российского» Карамзин возвращает интерес к жанру «монументальной истории». Более того, он вызывает к монументальной истории читательский интерес, несмотря на то, что до этого образованная публика приобщалась к истории преимущественно посредством жанров анекдота, «сокращенной истории», «повести», «русских плутархов», исторических словарей и т.д.

<sup>1</sup>Чернец Л.В. Литературные жанры: (проблемы типологии и поэтики). М., 1982. С.239.

Однако монументальная история возвращается в историографию, уже испытав на себе влияние малых повествовательных жанров.

Вследствие этого в «Истории государства Российского» мы отмечаем дискретность повествования, когда из повествовательной структуры сочинения можно «выделить» вслед за самим писателем<sup>1</sup> наиболее выразительные, обладающие сюжетной завершенностью, исторические эпизоды, которые могут быть выделены из «Истории» в самостоятельные жанровые образования.

Дискретность в восприятии монументальной истории отразила несколько трансформирующийся во времени принцип создания летописи («свод») и ее многожанровый характер.

В каждом же выделяемом читателем «эпизоде» истории, обладающим сюжетной завершенностью, преобладает объективная манера повествования, близкая к летописной.

Можно утверждать, что такой тип повествования предполагал цельность восприятия, т.к. объективно-повествовательная линия и авторская субъективно-эмоциональная в повествовании совпали, а следовательно, «функция воздействия» совпала с «функцией сообщения». Совмещение этих функций повествования свидетельствует о воплощении литературных задач историков «второго поколения» в собственноисторических сочинениях.

Процессы, протекавшие в жанре «монументальной истории» во второй половине XVIII века, отразились и в жанре исторической повести XVIII века. Известно, что приемы летописания оказали влияние на все исторические жанры, которые стали восприниматься как летописные (Л.С.Лихачев).

---

<sup>1</sup>Здесь достаточно вспомнить те исторические эпизоды, которые Н.М.Карамзин выносит на публичное чтение.

Историческая повесть XVIII века относится к таким жанрам, так как по многокомпонентной структуре построения напоминает летопись, и из нее также можно «выделить» составляющие целое, но воспринимающиеся как самостоятельные структурные элементы, «эпизоды», «моменты», в основе которых также лежит летописный метод повествования. Можно сказать, что дискретность, пришедшая на смену синкретическому восприятию истории, во второй половине XVIII века повлияла не только на жанр монументальной истории, но и на повесть.

Таким образом, можно сказать, что жанр монументальной истории распался под влиянием малых повествовательных жанров и «вернулся к жизни» в «Истории государства Российского» Карамзина, уже испытав на себе их влияние.

Многочисленные же «сборники анекдотов», «исторические словари» и «плутархи» выступают в качестве посредников в этом возвращении читательского интереса к монументальной истории России. Сборники анекдотов, например, строились по летописному методу, а сам анекдот представлял собой законченное сюжетное повествование, которое велось от лица очевидца события.

Таким образом, мы можем сказать, что жанр монументальной истории XVIII века является восприемником жанра летописи в методах его создания и повествования.

Летописный метод повествования и те процессы, которые повлияли на «выделение» повествовательных жанров из летописи, «размножение» жанра летописи и влияние летописи на те жанры, которые выделались из нее --- все это на новом историческом уровне отразилось на собственноисторической литературе, и привело в конце концов к формированию художественно-исторической литературы.

## Заключение

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.

Собственноисторическая литература XVIII века находилась под влиянием русского средневекового летописания.

На наш взгляд, летописный период русской историографии XVIII века отличает метод создания исторического сочинения, характерный как для древнерусской литературы в целом, так и для летописания, который состоял в том, что исторические работы замещались историками «первого и второго поколения» как часть целого — монументального исторического труда по истории России, и поэтому они не могли существовать вне связи с другими историческими сочинениями, написанными в течение XVIII века.

Итак, историки «первого поколения» В.Н.Татищев, Г.-Ф.Мидлер, М.М.Щербатов создавали свои сочинения по «методу и обычаю летописцев», а их сочинения, написанные в жанре «монументальной истории», по отношению к историческим сочинениям историков «второго поколения» (Ф.Эмиз, А.Сумароков, И.Елагин, И.Богданович) можно считать «начальными сводами». Историки «второго поколения» формировались под непосредственным влиянием первых историографов и их сочинений.

В основе создания их собственноисторических сочинений, написанных в жанре «монументальной истории», лежит также летописный метод. Т.е. историки неопиты в своих работах «перепиывали» и дополняли новыми сведениями сочинения своих предшественников — историков «первого поколения».

Историков «первого и второго поколений» разделяют разные задачи, которые они ставили перед собой, решив обратиться к истории. Первые историографы «старались» ради «общего дела»

— создания монументальной «Истории» России, и свои труды рассматривали как часть будущей полной истории Отечества. Их работы, как летописи нового времени, были открыты для дополнения последующими поколениями историографов. Историки «второго поколения» уже стали относиться к своим сочинениям как к авторской собственности, т.к. перед ними, когда они из читателей истории превратились в ее писателей, вставали литературные задачи.

Это было связано с тем, что в 70-е годы XVIII века в литературе (мемуаристике, публицистике) происходило усиление индивидуализации творческого начала, что отразилось и на собственно исторической литературе, где к этому времени ведущие позиции начинают занимать историки из среды литераторов или те, кто хотел прослыть таковыми, и их обращение к историческому материалу часто было продиктовано творческими амбициями. Для того, чтобы удовлетворить авторское самолюбие, необходимо было расположить к себе читателей, а для этого, в свою очередь, следовало хоть чем-нибудь отделиться от своих предшественников, на работах которых основывали свои сочинения историки «второго поколения». Вследствие индивидуализации творческой манеры, а также ориентации историков «второго поколения» на вкусы и сюжетный интерес читателей к истории и под влиянием требований главенствующей литературной эстетики классицизма, история в их сочинениях находит художественное воплощение.

Одним из важнейших признаков художественного освоения исторической реальности в сочинениях историков «риторического направления» становится метод творческого «отбора», результатом которого явилось, с одной стороны, «усечение» «малоэстетического», с их точки зрения, исторического материала, а с другой — «риторическое распространение» «эстетически значимых» эпизодов истории. В эти «выбранные» «случаи» и «характеры» историки допускали творческий вымысел, который помогал им удовлетворять

литературному вкусу образованных читателей. Таким образом, «выбранные» отдельные исторические эпизоды обрастали вымышленными «подробностями» и обретали сюжетную завершенность в недрах «монументальной истории». В основу этих отдельных эпизодов легла летописная повествовательная манера, подразумевающая рассказ о событии от лица его очевидца. Этот метод повествования используется историками «второго поколения» уже как литературный прием, ориентирующий читателя на достоверность изображаемого события.

«Выбранные» и «риторически распространенные» историками отдельные исторические эпизоды в рамках жанра «монументальной истории» приобретают признаки жанров анекдота, повести, очерка. Эти жанры, обладая сюжетной завершенностью и художественной выразительностью, разрушают изнутри монументальную историю и «выделяются» из нее, и становятся в 80–90-е годы основными жанрами повествовательной литературы. Вместе с тем, вне жанра «монументальной истории» в литературе жанры анекдота, повести, очерка приобретают большое значение, и в свою очередь, извне воздействуют на жанр «монументальной истории».

Дискретное восприятие истории как «сцепления» отдельных «случаев» и «характеров» отразилось и в творчестве Н.М.Карамзина до 1803 года. Писатель оказал влияние на распространение в литературе жанров повести, очерка. Поэтому процесс «выделения» из «монументальной истории» этих жанров и влияние извне на «монументальную историю» повествовательных жанров повести, анекдота, очерка носит амбивалентный характер.

Таким образом, в 80-е годы XVIII века на смену «монументальной истории» приходят повествовательные жанры анекдота, повести, очерка, в основе которых лежит манера повествования, близкая к летописной. Вместе с тем, в 90-е годы



XVIII века происходит возвращение к синкретическому восприятию истории через популярные тогда сборники анекдотов, «словарей исторических», «Русских Плутархов», каждая из которых представляли собой монументальные и постоянно дополнявшиеся из издания в издание исторические повествования, в основе которых лежало «сцепление» «случаев», объединенных одной исторической личностью или общим историческим периодом.

В «Истории государства Российского» Н.М.Карамзин возвращается на новом уровне к жанру «монументальной истории». Однако «История» не могла не оказаться под влиянием дискретного взгляда на историю. Повествовательные жанры повести, анекдота, очерка оказали влияние и на «Историю государства Российского» Н.М.Карамзина. В основу выделяемых нами, вслед за Карамзиным, наиболее выразительных эстетически и исторически значимых эпизодов положена летописная манера повествования, воспринятая писателем уже как литературный прием.

Таким образом, разделение художественных и научно-познавательных задач, встававших перед историками «второго поколения», привело к выделению из собственно исторической литературы повествовательных жанров анекдота, повести, очерка. Поэтому их исследование должно опираться на русскую историографическую традицию XVIII — начала XIX века.

## Список использованной литературы

### 1. Источники.

1. Анекдоты подлинные Императрицы Екатерины II. М., 1806.
2. Анекдоты императора Павла /изд. Е.Тыртова. М., 1807.
3. Анекдоты о императоре Павле Первом самодержце  
всероссийском/изд. Е.Тыртова. М., 1807.
4. Анекдоты и деяния славных мужей. Спб., 1808.
5. Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве.  
М., 1809.
6. Анекдоты русские, или великие, достопамятные деяния и  
добродетельные примеры славных мужей  
России...//Вестник Европы. 1809. Кн.22.
7. Анекдоты, объясняющие дух Графа Петра Александровича  
Румянцева Задунайского. Спб., 1811.
8. Архив кн.С.М.Воронцова. М., 1882. Т.23.
9. Барков И.С. Сокращенная российская история...//Курас Г.  
Сокращенная университетская история. Спб., 1762.
10. Беляев О. Дух Петра Великого, императора Всероссийского и  
соперника его Карла XII, короля шведского. Спб.,  
1798.
11. Берлинский М. Краткая Российская история, для  
употребления тонопеству, начинающему обучаться  
истории, продолженное до исхода XVIII столетия.  
М., 1800.
12. Библиотека Российская историческая. Спб., 1767. Ч.1.
13. Богданов А.И. Историческое, географическое и  
топографическое описание Санкт-Петербурга  
от начала заведения его с 1703 по 1751. Спб.



14. Богданович И.Ф. Историческое изображение России//Богданович И.Ф. Сочинения: В 2 т. Спб., 1848. Т. II.
15. Богданович И.Ф. Ответ сочинителя Исторического изображения России к его известному вопросителю//Богданович И.Ф. Сочинения: В 2 т. Спб., 1848. Т. II.
16. Болтин И.Н. Примечания на историю древней и нынешней России г. Леклерка. Спб., 1788. Т. 1, 2.
17. Болтин И.Н. Критические замечания генерал-майора Болтина на первый том «Истории» князя Щербатова. Спб., 1793.
18. Брайко Г.Л. Известие о новых книгах: Историческое изображение России//Санктпетербургский вестник. 1778. Июнь. С. 49—65.
19. Брайко Г.Л. Ответ на письмо Г. сочинителя Исторического изображения России, включенное им в Т. 64 Санктпетербургских ведомостей//Санктпетербургский вестник, 1778. Август. С. 146—154.
20. Булгарие В. Историческое розыскание о времени крещения Российской Великой Княгини Ольги. Спб., 1792.
21. Булгарие В. Кабинет Петра Великого. Спб., 1800.
22. Верто. История о бывших переменах в Римской республике/пер. И. Богдановича. Спб., 1771. Т. 1.; 1774. Т. 2; 1775. Т. III.
23. Гераков Г.В. Герои русские за 400 лет. Спб., 1801.
24. Гераков Г.В. Князь Меншиков, любопытный исторический отрывок. Спб., 1801.
25. Гераков Г.В. Твердость духа некоторых россиян. Спб., 1803.
26. Гераков Г.В. Героини славянского поколения. Пг., 1805.
27. Гераков Г.В. Достопамятные происшествия в Российской истории с рождения Петра Великого до кончины его. Пг., 1807.

28. Гераков Г.В. Князь Мешников и в ссылке великий человек. Пт., 1811.
29. Гераков Г.В. Твердость духа русских: В 3 ч. Спб., 1813—1814.
30. Гераков Г.В. Отрывок из Российской истории мало кому известной с 1598—1613 гг. Спб., 1817.
31. Глинка С. Русские исторические правоучительные повести. М., 1810.
32. Глинка С. Русские анекдоты военные, гражданские и исторические, изображающие свойство и знаменитые деяния Русских: В 2 ч. М., 1811.
33. Голиков И.И. Деяния Петра Великого. М., 1788—1789. Ч.1—12.
34. Голиков И.И. Дополнения к деяниям Петра Великого. М., 1790—1797. Т.1—8.
35. Голиков И.И. Историческое изображение жизни и всех дел славного женева Фрацца Яковлевича Лесфорта. М., 1800.
36. Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1837. Т.1.
37. Детское чтение для сердца и разума. М., 1784.
38. Деяния Екатерины II: В 6 ч./изд. П.Колотов. Спб., 1810—1811.
39. Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. М., 1860. Ч.1. Кн. III.
40. Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. Спб., 1755—1796.
41. Екатерина II. Записки касательно Российской истории. Спб., 1787. Ч.1—4.
42. Евлашев И.П. Опыт повествования о России. М., 1803. Кн. I—III.
43. Жизнь и военные деяния Ермака, завоевателя Сибири, выбранные из Российских и иностранных писателей. М., 1807.

44. Жизнь, свойства, военные и политические деяния Российского Императора Павла I, Фельдмаршала Князя Потемкина Таврического, Капитана Князя Безбородки. Спб., 1805.
45. Журнал исторический, выбранный из разных книг: В 2 ч. Тобольск, 1790.
46. Зеркало совета/изд.Ф.Туманский. Спб., 1786—1787. Ч.1—6.
47. Измайлов А. Громобой//Муза. 1796. Ч.II.
48. Карамзин Н.М. Исторические воспоминания и замечания по пути к Троице//Карамзин Н.М. Сочинения: В 2 т. Спб., 1848. Т.1.
49. Карамзин Н.М. Известие о Марфе-посаднице, взятое из жития св.Зосимы//Избр.соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т.2. С.227—231.
50. Карамзин Н.М. О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств//Там же. С.188—198.
51. Карамзин Н.М. Пантеон российских авторов//Там же. С.156—173.
52. Карамзин Н.М. О Богдановиче и его сочинениях//Там же. С.198—227.
53. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1988—1989; Кн. I—IV.
54. Карамзин Н.М. Наталья, боярская дочь//Избр.соч.: В 2 т. М., 1964. С.622—661.
55. Карамзин Н.М. Марфа-посадница, или покорение Новгорода. Там же. С.680—729.
56. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987.
57. Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка Шк.Мих.Карамзина. Спб., 1862. Ч.1.
58. Карамзин Н.М. О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича//Соч.: В 2 т. Спб., 1842. Т.1. С.398—418.

59. Карамзин Н.М. О Тайной Канцелярии//Соч.: В 2 т. Спб., 1848. Т.1. С.419—426.
60. Карамзин Н.М. Записка о московских достопамятностях//Соч.: В 2 т. Спб., 1848. Т.1. С.427—447.
61. Карамзин Н.М. Путешествие вокруг Москвы//Соч.: В 2 т. Спб., 1848. Т.1. С.448—457.
62. Картина жизни и военных деяний генералиссимуса кн.А.Д.Меншикова, любимца Петра Великого. М., 1803.
63. Киприан и Макарий, митрополиты. Книга степенная царского родословия, содержащая историю российскую с начала оныя до времен государя царя и вел. кн. Иоанна Васильевича./под ред. Г.–Ф.Миллера. М., 1775. Ч.1—2.
64. Корифей, или ключ литературы. Спб., 1802. Ч.1.
65. Крекшин П.Н. Краткое описание славных и достопамятных дел имп.Петра Великого. М., 1789.
66. Лазаревич В. Добродетельная Розана. Спб., 1798.
67. Левашев П. Картина, или описание всех нашествий на Россию татар и турков, и их тут браней, грабительств и опустошений. Спб., 1792.
68. Летописец, или Русский временник, содержащий Российскую Историю от Х.Р. с 862 по 1681 год. М., 1790. Ч.1—2.
69. Летописец, содержащий в себе Российскую историю с 1206 до 1534 года, который служит продолжением Нестерову летописцу. М., 1784.
70. Ломоносов М.В. Краткий Российский летописец с родословием. Спб., 1760.

71. Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. Спб., 1766.
72. Львов Н.А. Летописец Русской от пришествия Рюрика до кончины Царя Иоанна Васильевича. Спб., 1792. Ч.1.
73. Львов Н.А. Подробная летопись от начала России до Полтавской Баталии. Спб., 1798. Ч.1.
74. Львов П. Пожарский и Минин, спасители Отечества. Спб., 1810.
75. Магазин чтения для всякого возраста и пола людей, собранных из разных повестей, сказок, басней и анекдотов, стихотворений, исторических и других кратких сочинений. М., 1789. Ч.1—4.
76. Мальгин Т. Зерцало Российских государей. Спб., 1794.
77. Мальгин Т. Историческое изображение трех главных достопримечательнейших свойств и добродетелей Всероссийского императора Петра Великого. Спб., 1811.
78. Машкиев А.И. Ядро российской истории. М., 1784.
79. Мидлер Г.-Ф. Опыт новейшей истории о России//Ежемесячные сочинения и переводы к пользе и увеселению служащих. 1761. Январь. С.3—63; Февраль. С.99—154; Март. С.195—244.
80. Мидлер Г.-Ф. Сибирская история//Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. 1764. Январь—Май.
81. Мидлер Г.-Ф. Задачи//Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. 1764. Январь. С.93—95; Апрель. С.383—384.
82. Мидлер Г.-Ф. Известие о дворянах российских. Спб., 1790.
83. Муравьев М.Н. Опыты истории, словесности и правоучения. Спб., 1796.
84. Новиков Н.И. Древняя российская вивлиофика/М., 1-е изд., 1773—1775; М., 2-е изд., 1788—1791.

85. Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Спб., 1772.
86. Новиков Н.И. Родословная книга князей и дворян российских. М., 1787. Ч.1—2.
87. Новиков Н.И. Повествователь древностей Российских или Собрание разных достопамятных записок, служащих к пользе истории и географии Российской. Спб., 1776. Ч.1.
88. Пехачин И. Исторический словарь российских государей, князей, царей, императоров и императриц. М., 1793.
89. Пехачин И. Ядро истории государя Петра Великого. М., 1795.
90. Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. М., 1987.
91. Плутарх для юношества или жизнь великих людей всех наций с присовокуплением жизнеописания знаменитейших Россиян. М., 1814. Ч.1—10.
92. Подробная летопись от начала России до Полтавской Битвы. Спб., 1774—1775. Ч.1—4.
93. Попов М. Славяцкие древности или приключения славяцких князей. Спб., 1770.
94. Прокушин М. Валерия или действия души великой и благородной. М., 1773.
95. Российский магазин/изд.Ф.Туманский. 1792. Ч.1.
96. Рубан В. Поход Боярина и большого полку Воеводы, Алексея Семеновича Шенва к Азову, взятие его и Лютика города, и торжественное отсюда с победоносным воинством возвращение в Москву, с подробным описанием всех военных и торжественных происшествий. Спб., 1773.
97. Рубан В. Ростись Великих Князей, Царей и Императоров Российских, учиненная с вырезанных медалей с их портретами и следующими историческими известиями о времени их вступления на престол, владения и жизни, побольший месящеслов. 1775. С.29—36.

98. Рубан В. Российский царский памятник, содержащий по азбучному порядку краткое описание жизни Российских Государей, их супруги, чад обоего пола. Спб., 1783.
99. Русская летопись по Никонову списку/предисл. А. Шлецера. Спб., 1764—1792. Ч. 1—8.
100. Рычков П. Н. Опыт Казанской истории древних и средних времен. Спб., 1767.
101. Санктпетербургские ученые ведомости на 1777 год изд. Н. И. Новиковым/переизд. А. Н. Неустроева. Спб., 1873. № 4. 27 января.
102. Свободные часы/изд. М. Хераскова. 1763. Февраль—Май, Июль.
103. Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев, министров и градоначальников... Перевод с французских Исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития Великий Князей и Государей Российских и прочих мужеством, подвигами и дарованиями отличавшихся ко благородствию и славе Монархов своих и Отечества. М., 1790—1798. Ч. 1—14.
104. Собеседник любителей Российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых Российских писателей. Спб., 1783—1784. Ч. 1—16.
105. Собрание разных сочинений и новостей. Спб., 1776. Февраль—Декабрь.
106. Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. Спб., 1790. Ч. 1—6.
107. Соковнин С. П. Опыт исторического словаря о всех в истинной православной греко-российской вере святою непорочною жизнью, прославившихся святых мужах. М., 1784.



108. Спиридов М.Г. Родословной российский словарь, содержащий в себе историческое описание родов князей и дворян российских и выезжих... М., 1793. Ч.1.
109. Сумароков А.П. Первый и главный стрелецкий бунт бывший в Москве в 1682 году в месяце Мае. Спб., 1768.
110. Сумароков А.П. Краткая московская летопись. Спб., 1774.
111. Сумароков А.П. Сокращенная повесть о Стеньке Разине. Спб., 1774.
112. Тапшнев В.Н. История Российская с самых древнейших времен: В 7 т. М.; Л., 1962—1966. Т.1—6.
113. Товарищ разумный и замысловатый, или Собрание хороших слов, разумных замыслов, хороших ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древнего и нынешнего веков. Спб., 1764. Ч.1—2.
114. Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях Гос. Имп. Петра Великого. Спб., 1787—1788. Ч.1—10.
115. Туманский Ф. Полное описание деяний е.в. государя имп. Петра Великого. Спб., 1788. Ч.1.
116. Туманский Ф. Созерцание славы жизни святого благоверного вел. кн. Александра Ярославовича Невского. Спб., 1789.
117. Тургенев Н.И., декабрист. Письма к брату С.И. Тургеневу. 1811—1821. М.; Л., 1936.
118. Феофан (Колоколов Федор). Картина древности, или Исторические любопытные примечания. Калуга. 1793—1794. Ч.1—3.
119. Филиповский Е. Краткое историческое и хронологическое описание жизни и деяний вел. князей российских, царей, императоров и их пресветлейших супругов и детей. М., 1805.



120. Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции. Спб., 1781. Т.1. Кн.1.
121. Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. М., 1770—1791. Т.1—7.
122. Щербатов М.М. Краткая повесть о бывших в России самозванцах. Спб., 1774.
123. Щербатов М.М. Краткое историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих от великого князя Рюрика. М., 1785.
124. Щербатов М.М. Письмо Щербатова, сочинителя Российской истории, к одному приятелю в оправдание на некоторые скрытые и явные оулюдия, учиненные его истории от г-на генерал-майора Болтина, творца «Примечаний на Историю»... г.Леклерка. М., 1789.
125. Щербатов М.М. Примечания на ответ господина генерал-майора Болтина на письмо Князя Щербатова, сочинителя Российской истории. М., 1792.
126. Шлецер А. Восток: Русские летописи на древнеславянском языке, еличенные, переведенные и объясненные А.Шлецером. Спб., 1809.
127. Шлецер А. Общественная и частная жизнь А.Шлецера, им самим описанная. Спб., 1875.
128. Штелин Я. Любопытные и достопамятные сказания о Имп. Петре Великом. Спб., 1786.
129. Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом, слышанные из уст знаменитых особ в Москве и Спб., и извлеченные из забвения Якобом фон Штелиным, ныне же вновь переведенные с немецкого на российский язык, с прибавлением многих других на Российском языке не изданных Анекдотов. М., 1800. Ч.1.

130. Шприттер И. История Российского государства, сочиненная статским советником и кавалером Иваном Шприттером. Спб., 1800—1802. Ч.1—3.
131. Эмин Ф. Российская история. Спб., 1767—1769. Т.1—III.
132. Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Спб., 1803. Ч.1.

## 2. Научная литература

133. Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973.
134. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX в.). М., 1985.
135. Анастасевич В.Г. Роспись Российским книгам библиотеки Смартана. Спб., 1828.
136. Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии. М., 1985.
137. Бахтия М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
138. Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968. Т.1—2.
139. Берков П.Н. А.П.Сумароков. 1717—1777. Л.; М., 1949.
140. Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952.
141. Берков П.Н. Шесть писем А.П.Сумарокова к историографу Г.-Ф.Мидлеру (1767—1769), и четыре записки последнего к Сумарокову//XVIII век. М.; Л., 1987. Сб.5. С.376—382.
142. Бестужев-Рюмин К.П. Русская история. Спб., 1872. Т.1.
143. Бестужев-Рюмин К.П. Биографии и характеристики. Спб., 1882.

144. Бешенковский Е.Б. Жизнь Федора Эмина//XVIII век. Л., 1976. Сб.П. С.186—204.
145. Бомштейн Г.И. Ломоносов и национально-историческая тема в русской литературе и искусстве//Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.: Л., 1966: XVIII век. Сб.7. С.86—93.
146. Булич И. Сумароков и современная ему критика. Спб., 1854.
147. Быкова Т. и М.Гуревич. Описание изданий гражданской печати 1708—январь 1725 г. М.: Л., 1955.
148. Валк С.Н. Исторический источник в русской историографии XVIII века//Проблемы истории докапиталистических обществ. М.: Л., 1934. №7—8.
149. Валк С.Н. В.Н.Татищев и начало новой русской исторической литературы//Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.: Л., 1966: XVIII век. Сб.7. С.66—73.
150. Вальденберг В.Э. Щербатов о Петре Великом. Спб., 1903.
151. Варфоломеев И.П. Типологические основы жанров исторической романистики (классификация вида). Ташкент, 1979.
152. Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986.
153. Верещатин В.А. Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий (1729—1870): Библиографический опыт. Спб., 1898.
154. Виггер Э. Ломоносов и Шлецер//Ломоносов М.В. Сб.ст. и материалов. М.: Л., 1960. Т.4. С.260—271.
155. Вишнер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
156. Гейшати Г.И. Русские книжные редкости: Библиографический список русских редких кнж. Спб., 1872.
157. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.

158. Гишбург Л.Я. Литература в поисках реальности. М., 1987.
159. Голыцын В.Н. Портфели Миллера. М., 1899.
160. Городецкий Б.М. Систематический указатель содержания «Исторического вестника» за 25 лет (1880—1904). Спб., 1908.
161. Горшков А.И. Язык предпушкинской прозы. М., 1982.
162. Грег Н. Учебная книга русской словесности. Спб., 1844. Ч.3.
163. Губерти Н.В. Материалы для русской библиографии: Хронологическое обозрения редких и замечательных русских книг XVIII столетия, напечатанных в России гражданским шрифтом 1725—1800. М., 1878—1891. Вып.1—3.
164. Гуковский Г.А. К вопросу о русском классицизме//Поэтика. <Г> IV. Л., 1928. С.21—66.
165. Гуковский Г.А. Литература XVIII века//История русской литературы. М.: Л., 1947. Т.IV. Ч.2.
166. Давыдов И.И. Взгляд на историю государства Российского Карамзина со стороны художественной//Известия Имп. АН Спб., 1855. Т.IV. Отделение II. С.209—244.
167. Дебров Л.А. Общественно-политические и исторические взгляды Н.И.Новикова. Саратов, 1974.
168. Лемин А.С. Писатель и общество в России XVI—XVII веков: (Общественные настроения) М., 1985.
169. Еремин И.П. Литература Древней Руси. Эподы и характеристики. М.: Л., 1976.
170. Ешевский С.В. Материалы для истории русского общества XVIII века//Ешевский С.В. Сочинения. М., 1870. Ч.III. С.403—443.
171. Золотова Г.А. Структура сложного синтаксического целого в карамзинской повести//Труды института языковедения АН СССР. 1954. Т.3.
172. Икошиков В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1891, 1908. Т.1—2.

173. Иконников В.С. Императрица Екатерина II как историк. Киев, 1911.
174. История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М., 1965.
175. История русской литературы XVIII века: Библиографический указатель. Л., 1968.
176. История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Л., 1978.
177. Историографические и исторические проблемы русской культуры. М., 1983.
178. Историческая биография. Сборник обзоров. М., 1990.
179. Капунова Ф.З. Из истории русской повести. Томск, 1967.
180. Капунова Ф.З. Карамзин и Жуковский (некоторые вопросы изучения русской истории по материалам библиотеки В.А.Жуковского)//XVIII век. Л., 1989. Сб.16.
181. Карлова Т.С. Эстетический смысл истории в творческом восприятии Карамзина//XVIII век. Л., 1969. Сб.8.
182. Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 1912.
183. Ключевский В.О. Сочинения: В 8 т. М., 1959. Т.6, 8.
184. Козлов В.П. «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И.П.Елагина//Вопросы истории. 1984, №8. С.23--31.
185. Козлов В.П. «История государства Российского» Н.М.Карамзина в оценках современников. М., 1989.
186. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Сиб., 1901.
187. Кузьмин А.Г. Был ли В.Н.Татищев историком?//Русская литература. 1971, № 1. С.58--64.
188. Кукункина Е.Л. О драматургическом компоненте в прозе XVIII века//XVIII век. Сиб., 1991. Сб.17. С.48--61.

189. Кусков В.В. История древнерусской литературы. Курс лекций. М., 1982.
190. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Спб., 1910. Ч.1. 1913. Ч.2.
191. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947.
192. Лихачев Д.С. О летописном периоде русской историографии//Вопросы истории. 1948. №9. С.21—40.
193. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958.
194. Лихачева В.Д. Лихачев Д.С. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971.
195. Лихачев Д.С. Можно ли включить «Историю Российскую» Татищева в историю русской литературы?//Русская литература. 1971. №1. С.64—69.
196. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.
197. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
198. Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения//Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.79—107.
199. Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы//Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С.107—128.
200. Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Н.М.Карамзина (1789—1803)//Уч. зап. Тартуского ун-та, 1957. Вып.51. С.136—155.
201. Лотман Ю.М. Пути развития русской просветительской прозы XVIII века//Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. М.; Л., 1961. С.79—106.

202. Лотман Ю.М. Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг. // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1961. Т. IV. С. 3—57.
203. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Труды по знаковым системам. Тарту, 1977. Вып. VIII. С. 65—89.
204. Лотман Ю.М. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII — начала XIX столетия // XVIII век. Л., 1981. Сб. 13. С. 82—90.
205. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
206. Лотман Ю.М. Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 525—606.
207. Лотман Ю.М. Колумб русской истории // Лотман Ю.М. Избр. ст.: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 206—228.
208. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). Сиб., 1994.
209. Исковский Н.М. Список указателей к русским периодическим изданиям XVIII — XIX ст. Сиб., 1903.
210. Исковский Н.М. Периодическая печать в России 1703 — 1903. СПб., 1915. Отд. 1—2.
211. Тувыкина, Л.Н. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и трагедия Пушкина «Борис Годунов» как проблеме характера детошвенно // Русская литература. 1971. № 1. С. 45—58.
212. Тувыкина, Л.Н. Историзм художественного мышления в первые десятилетия XIX века // Изв. АН СССР: Серия литературы и языка. 1972. Т. 31. Вып. 2.

213. Лузянина Л.Н. Принципы художественного повествования в «Истории государства Российского» П.М.Карамзина//История русской литературы. Л., 1981. Т.2. С.80—87.
214. Лузянина Л.Н. Проблемы историзма в творчестве Карамзина — автора «Истории государства Российского»//XVIII век. Л., 1989. Сб.16.
215. Лукичев Э.В. К вопросу о возникновении русского правоописательного очерка//Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1980. Вып.4.
216. Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.: Л., 1952.
217. Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма в русской литературе//XVIII век. Л., 1981. Сб.13. С.3—65.
218. Мацишевский К.В. «Записка Якоба Штелльма о Прутском походе Петра I»//Русская литература. 1982. №2.
219. Мартынов И.Ф. Журналист, историк и дипломат XVIII века Григорий Леонтьевич Брайко//XVIII век. Л., 1977. Сб.12. С.232—235.
220. Масанов Ю.И. Никкина Н.В. Тагов З.Д. Указатель содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1775—1970 гг. М., 1975.
221. Милоков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. Спб., 1913.
222. Мильков Ф.Н. П.И.Рычков: Жизнь и географические труды. М., 1953.
223. Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки из истории филологической науки. М., 1989.



224. Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.
225. Моисеева Г.Н. «Опыт повествования в России» И.П.Елагина в оценке Н.М.Карамзина//XVIII век. Л., 1989. Сб.16.
226. Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972.
227. Неустроев А.Н. Описание редкого журнала «Российский магазин», издававшегося в 1792—1794 гг. Ф.Туманским. Спб., 1847.
228. Неустроев А.Н. Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг. библиографически и в хронологическом порядке описанных. Спб., 1874.
229. Неустроев А.Н. Древняя российская вивлиофика (1788—1791): Библиографическое описание. Спб., 1874.
230. Неустроев А.Н. Василий Григорьевич Рубан//Литературные деятели XVIII века. Спб., 1896.
231. Неустроев А.Н. Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому розысканию о них. Спб., 1898.
232. Нечкина М.В. История истории (некоторые методологические вопросы истории исторической науки). М., 1965.
233. Панченко А.М. История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко//ТОДРЛ. Л., 1970. Т.XXXIV.
234. Панченко А.М. О смене писательского типа в петровскую эпоху//XVIII век. Л., 1974. Сб.9. С.112—129.
235. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ//Из истории русской культуры (XVII—начало XVIII века). М., 1996. Т.III. С.11—265.

236. Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. Спб., 1862. Т.1—2.
237. Пекарский П.П. Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова. Спб., 1867.
238. Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. Спб., 1870. Т.1.
239. Петрунича Н.П. Проза 1800—1810-х гг.//История русской литературы. Л., 1981. Т.2.
240. Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч.1.
241. Пештич С.Л. История русской историографии XVIII века. Л., 1985. Ч.II. 1971. Ч.III.
242. Погодин М. Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отрывкам современников. М., 1860. Ч.1.
243. Покровский В.И. А.П.Сумароков. Его жизнь и сочинения. М., 1911.
244. Попов Н.В. В.Н.Татищев и его время. М., 1861.
245. Пыпин А. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. Спб., 1857.
246. Пыпин А. Исторические труды имп.Екатерины II//Вестник Европы, 1901. Кн.12.
247. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941.
248. Русская словесность XVIII и XIX столетий/Русская словесность с XI по XIX столетие включительно: Библиографический указатель произведений русской словесности в связи с историей литературы и критики/Сост.А.В.Мезнер. Спб., 1899. Ч.II.
249. Русский и западно-европейский классицизм: Проза. М., 1982.
250. Сборники материалов по истории исторической науки в СССР (конец XVIII — первая треть XIX вв.). М., 1990.
251. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725—1800. М., 1962—1967. Т.1—5.

252. Семешников В.П. Материалы для истории русской литературы и словаря писателей эпохи Екатерины II//Тр. 1915.
253. Серман И.З. И.Ф.Богданович//Богданович И.Ф. Стихотворения и поэмы. Л., 1957.
254. Серман И.З. И.Ф.Богданович — журналист и критик//XVIII век. М.: Л., 1959. Сб.4.
255. Синовский В.В. Очерки из истории русского романа. Спб., 1909. Т.1. Вып.1.
256. Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып.1.
257. Словарь русских писателей. 1800—1917. М., 1989. Т.1.; 1992. Т.2.; 1994. Т.3.
258. Соловьев С.М. Писатели русской истории XVIII века: Манкиев, Татищев, Ломоносов, Гредьяковский, Шербатов, Болтин, Эмин, Елагин, Митрополит Платон//Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый И.Калачовым. М., 1855. III отд. Кн.2. 1-я половина.
259. Соловьев С.М. Карамзин и его литературная деятельность//Отечественные записки. 1853. № 10; 1854. № 2, 5; 1855. № 4—5; 1856. № 4.
260. Соловьев С.М. Герард Фридрих Мидлер (Фридрих Иванович Мидлер)//Современник. 1854. № 10.
261. Солодкин Я.Г. Летопись «О разорении русском» в трудах В.Н.Татищева (К изучению творчества В.Н.Татищева как писателя русской истории)//XVIII век. Л., 1989. Сб.16. С.200—215.
262. Сошников В.С. Опыт российской библиографии. Спб., 1813—1816. Ч.1—5.
263. Старчевский А.В. Очерк литературы русской истории до Карамзина. Спб., 1845.
264. Старчевский А.В. И.М.Карамзин. Спб., 1849.

265. Степшик Ю.В. Системы жанров в историко-литературном процессе//Историко-литературный процесс. Л., 1974.
266. Сыромятников Б.П. Основные моменты в развитии исторической мысли//Русская мысль. 1906. №12. С.79—97.
267. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. М., 1991.
268. Тартаковский А.Г. История продолжается...//Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М., 1993. С.5—49.
269. Тихомиров М.Н. Историческое знание в России второй половины XVIII века (Ломоносов, Щербатов, Болтин). М., 1945.
270. Тихомиров М.Н. Русская историография XIX в.//Вопросы истории. 1948. №2. С.94—99.
271. Томашевский Б.В. Теория литературы: Поэтика. М.: Л., 1927.
272. Федосов И.А. Из истории русской общественной мысли XVIII столетия. М.М.Щербатов. М., 1967.
273. Фридриендер Г.М. История и историзм в век Просвещения//Проблемы историзма в русской литературе конца XVIII — начале XIX вв./XVIII век. Л., 1981. Сб.13. С.66—81.
274. Черепнин Л.В. Русская историография до XIX века. Курс лекций. М., 1957.
275. Чернец Л.В. Литературные жанры: (проблемы типологии и поэтики). М., 1982.
276. Шамрай Д.Д. Ф.Эмиц и судьба рукописного наследия М.В.Ломоносова//XVIII век. М.: Л., 1958. Сб.3.
277. Шацкий Д.Н. Из истории русской исторической мысли. И.Н.Болтин. М., 1983.
278. Шацкий Д.Н. Историческая мысль//Очерки русской культуры XVIII века. М., 1988. Ч.3. С.122—162.

279. Шмурло Е. Петр Великий в русской литературе. Спб., 1889.
280. Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 1983.
281. Эйхенбаум Б.М. Черты летописного стиля в литературе XIX века//Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1989.  
С.371—379.
282. Эйхенбаум Б.М. Карамзин//Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л.,  
1986.
283. Andrew Baruch Wachtel. An Obsession with History. Russian Writers Confront the Past. Stanford. 1990.